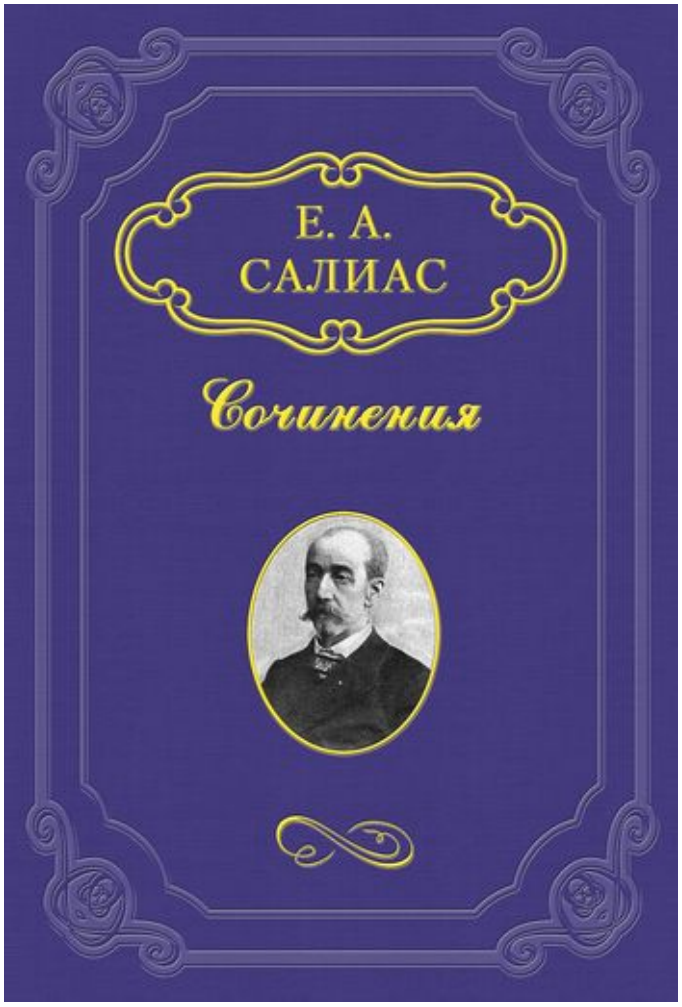
Е. А.
САЛИАС
Сочинения

Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир

Фрейлина императрицы

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2370815

Аннотация

В конце XIX века граф Салиас – автор многочисленных исторических романов – опередил по читательской популярности на только русских собратьев по перу, но и европейских фаворитов развлекательного жанра: Дюма и Жюля Верна. Во «Фрейлине императрицы» граф Салиас обращается к событиям своего излюбленного – XVIII – века.

Содержание

Часть первая 4
I 4
II 7
III 9
IV 12
V 14
VI 17
VII 19
VIII 22
IX 24
X 26
XI 29
XII 33
XIII 37
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Евгений Андреевич Салиас
Фрейлина императрицы

Часть первая

I

Был май месяц 1722 года.

В одном шведском приморском городе господствовало особенное оживление на улицах. Повсюду, и в городе, и в окрестностях его на несколько верст кругом, стояли лагерем русские полки.

Улицы и дома были переполнены военачальниками, офицерами и солдатами. Весь край переживал еще смутные дни после упорной борьбы и долго чередовавшихся походов и сражений.

Город этот, не раз видавший в стенах своих московских ратников еще со времен могущества Великого Новгорода, был теперь завоеван русскими у шведов. Это был богатый, цветущий порт – Рига.

Но теперь оживляло город не одно присутствие наступавших сюда русских полков, а, главным образом, личное присутствие самого русского императора, о котором гремела уже слава во всех пределах земных.

Давно ли в этой полудикой стране – Московии – хозяйничали как хотели и татары, и немцы, и поляки… Кто только не побеждал этих московцев! Давно ли царствовал в Москве скромный и боязливый царь Алексей, по прозвищу Тишайший, которого почти и знать не хотели повелители других стран. Ныне народился иной царь московский, который своими деяниями и победами как бы завоевал себе новое звание – император.

Странным и даже смешным казалось сначала и курфюрсту, польскому королю, и шведскому, и немецким королям слышать, что эта восточная варварская земля хочет именоваться империей наподобие Священной Римской империи. Но затем, вскоре грохот и блеск оружия этих варваров поневоле заставил ближайших и дальнейших монархов сознаться, что царь московский достоин именоваться – императором всероссийским.

Великий преобразователь, фельдмаршал и плотник, грозный деспот и веселый собеседник, проводил время в Риге так же, как всегда, занятый с восхода солнца и до вечера всякого рода делами и заботами. Вместе с ним сюда же прибыла и его жена, уже считаемая первой русской императрицей, а между тем женщина простого и загадочного происхождения, о которой немало толковали в Европе.

Государь проводил весь день вне дома: или, уезжая в порт, подолгу оставался на кораблях, стоявших в заливе, или бывал в окрестностях, среди своих дружин. Государыня сидела почти безвыездно у себя, в небольшом, но красивом домике, который предложил русскому императору один из богатых рижан.

Однажды около полудня к этому дому подъехал верхом в сопровождении двух офицеров военачальник, губернатор Риги князь Репнин, и послал доложить о себе государыне.

Принятый ею, князь через четверть часа уже вышел обратно и приказал одному из сопровождавших его офицеров:

– Ступай в острог, спроси там оную персону. Кого, ты знаешь! И, захватя с собой двух конвоиров, веди сюда… Да веди, братец, строжайше и крепчайше. Ее допустят к государыне,

а ты стань здесь и, когда она выйдет, обратно отведи ее в замок. Промахнешься в чем – смотри! Плохо будет!

Офицер двинулся исполнять приказание, а князь Репнин в сопровождении другого офицера направился в противоположную сторону, чтобы присоединиться в числе прочих, к свите самого государя, осматривавшего предместье города и выбиравшего место для постройки цитадели.

Чрез час после этого к резиденции императорской двое конвойных солдат с ружьями на плечах под командой офицера привели из замка высокую, худощавую женщину лет сорока на вид. Это была простая крестьянка, светло-белокурая, так что седина в голове едва отличалась от белых волос. Худое желтоватое лицо ее обличало изнурение, в нем ясно сказывалась болезненность, вероятно, последствие тюремного житья. Светло-серые глаза беспокойно блуждали, и было заметно и в лице и во всех движениях, что она сильно взволнована и смущена. При малейшем слове конвойных, при встрече с кем-либо и, наконец, в минуту приближения к императорской резиденции, откуда к ним вышли двое гайдуков в кафтанах с позументами, женщина пугалась. Она боязливо взглядывала исподлобья, даже слегка вздрагивала, как бы в постоянном ожидании чего-либо для нее погибельного.

– Ты не робей! Чего робеешь? – раза три сказал ей офицер, видя ее тревогу.

Женщина не отвечала ничего и только раз мотнула головой и пробурчала какие-то слова, но не по-русски.

Конвой остановился у главного крыльца. Гайдуки, вышедшие навстречу, приняли женщину от стражи и повели в горницы. Была минута – и она, испуганно глядя на всех, остановилась, как бы не решаясь двигаться далее и задрожав всем телом, собиралась, по-видимому, оказать сопротивление.

– Не бойсь, не бойсь! Ничего тебе не будет! – ласково и тихо сказал ей офицер.

Женщина украдкой перекрестилась по-католически и, подавив тяжелый вздох, перешагнула порог дома. Ее ввели в небольшую горницу, красиво убранную, с деревянными резными стенами и резным потолком. Это была столовая в стиле средних веков.

Гайдуки тотчас прошли далее и оставили ее одну. Женщина, дико озираясь, ничего, однако, не замечала. Она была слишком встревожена и, казалось, сознательно взглядывала только на двери, которые были перед ней.

Что думала она и чего ждала? Бог весть!

В ее голове мелькали всякие ужасы, мерещился ей даже палач с топором, который вот сейчас выйдет из дверей и отрубит ей голову.

Чрез несколько мгновений появился старик, по одежде и оружию – военный, а по длинным, седым усам его, которые повисли с лица до самого воротника кафтана, можно было узнать уроженца Украины. Это был типичный малоросс, потомок удалых запорожцев. Серые глаза его под мохнатыми седыми бровями, яркие, так и вспыхивали, как у двадцатилетнего юноши. Он кивнул головой женщине и, подходя, выговорил добродушно:

– Ты ведь по-русски ни слова не знаешь?

Женщина молча замотала головой.

– Что ж, по-латышски, что ли?

– Могу… – вымолвила только женщина.

– Ну так по-польски говоришь? – переменил он язык. – Твой язык польский?

По-польски женщина ответила тотчас и зачастила словами, заверяя прежде всего «пана ясновельможного», что она ни в чем не повинна, что она взята в плен русскими войсками, разорена и томится в остроге, не зная, что приключилось со всей ее семьей.

– Добже, добже, – махнул рукой старик. – Это не мое дело, Ты отвечай мне на вопросы. Ты Христина?

– Я Христина Енрихова, а по отцу Сковорощанка. Так зовут люди. А отец звался иначе. Звался он Самуилом Сковоротским. Все это правда, ясновельможный пан, я не лгу… Но я не виновата. Я просила только облегчить свое заключение, просила, хоть ради моих детей, помиловать меня и на волю выпустить. Я ничего не прошу другого… А что я говорила в суплике своей, то все правда… Да и она, Марта, сама вспомнит, коли захочет.

– Марта? – вымолвил, встрепенувшись, старик.

– Да, Марта.

– Ну, милая моя… Ты хоть и простая крестьянка, а все-таки, видать, женщина не совсем глупая. Поэтому пойми, что я тебе скажу: ты этак не называй ее величество ни в глаза, ни заглазно. Она для тебя, как и для всего мира, государыня Екатерина Алексеевна.

– Но ведь ее имя от рождения – Марта, – отозвалась Христина. – Я так и называю ее.

– Верю, знаю… Но пойми, что ты должна называть государыню – государыней, а не Мартой. И в беседе с нею, хоть и не прямо, а при моей помощи, все-таки имени этого, Марты, не упоминай! Поняла?

– Поняла, ясновельможный пан.

– Ну вот, сейчас я тебя пред государыней поставлю, и что будет она тебя чрез меня спрашивать, то ты по сущей правде и говори. Если чего, избави Боже, налжешь, то тебе еще хуже будет.

– Зачем мне лгать, я одну сущую правду скажу, что и в суплике говорила.

– Ну, хорошо. Обожди тут минуту да успокойся немного. Чего дрожишь? Ничего худого тебе не сделают. Присядь-ко вот тут да вздохни. Чувства свои постарайся успокоить. А то в этом виде ты ни говорить, ни объясняться не будешь в состоянии. Ну присядь!

Малоросс ласково положил руку на плечо женщины и почти силком усадил ее на деревянный стул.

Двинувшись в другие горницы, старик-воин едва заметно помотал головой и пробурчал себе под нос на своем родном хохлацком наречии:

– Дела, дела… Вон оне, какие дела. Какая диковина на свете бывает!.. А сходствия совсем никакого… Это совсем латышка или голландка, что ли… Совсем белобрысая. С нашей чернобровой царицей ни чуточки сходствия нет.

Проходя чрез пустую горницу, он остановился вдруг:

«А знает ли государь про то, что оную женщину сюда представили и допустили к государыне. Если он не знает да вдруг, оборотя домой не в урочный час, найдет ее тут… Тогда и мне несдобровать!»

Постояв мгновенье, старик вздохнул и двинулся далее, бурча себе под нос:

– Что ж тут раздумывать? Хоть и не виноват, а дубинки отведаешь! Да и все отведают ее. Начать с князя Репнина. А на миру и дубинка легка, как смерть красна!..

II

Военный, вышедший к Христине и отправившийся доложить государыне о приводе женщины из замка по ее указу, был уже семидесятипятилетний старик, которому можно бы было дать лет пятьдесят, если б не белые как снег усы и не блестящая, серебряная щетка волос на голове, коротко остриженных, кроме маковки, где виднелся маленький чуб вершка в два.

Эта гладко выстриженная голова с чубом отличала старика от всей свиты царя и царицы. Он один был всегда без парика, как в обыденное время так и в парадные дни. Это была льгота, дарованная старику-хохлу самим царем, за особые услуги, оказанные пред Полтавским боем. После этого памятного дня старик стал полковником, приближенным лицом, в особенности государыни, и уже ни на минуту не покидал ее.

Когда царь отлучался надолго в поход, то всегда неизменно говорил любимцу хохлу:

– Ну, Гребешок, береги Катрю.

Этим именем на малороссийский лад царь называл жену только одному старику-хохлу. Его же собственное прозвище, данное царем, произошло от его фамилии. Хохол носил старинное имя его родной земли: Гребенка.

Полковник по чину, никаким полком не командовал, а был нечто вроде адъютанта или на поручениях у царицы. Екатерина хотя настолько научилась русскому языку, что уже могла вполне свободно владеть им, но все-таки предпочитала, даже в беседе с царем, свой полуродной язык, то есть немецкий. Полковник Гребенка хорошо говорил по-русски, по-польски, по-немецки, по-шведски и даже немного мороковал по-латыни, обучавшись когда-то в юности разным наукам в иезуитском коллегиуме в Галицкой Руси.

Между тем, женщина, назвавшая себя Христиной, глубоко задумалась, усаженная почти насильно на стул добрым паном. Было отчего ей тревожиться, робеть и волноваться.

За последние месяцы она прошла чрез всякого рода мытарства. Внезапно оторванная от родного гнезда, разлученная с мужем и с детьми, она уже давно не видалась с ними и не знала, какая судьба постигла их. Она была взята в плен русскими войсками, прошедшими грозой чрез ее родные места, и в числе других десятков пленных она кой-как добралась до Риги, пешком, впроголодь. Пленных гнали за армией, как стадо баранов. По пути в Ригу исподволь из десятков образовались сотни этих военнопленных. Зачем их отрывали от очагов и родных – было неизвестно и непонятно. Многих парней и пожилых поселян не брали или вскоре отпускали. Других, а в том числе некоторых женщин и детей, гнали вплоть до Риги и здесь разместили по тюрьмам, ямам, подвалам и даже просто на улице, табором, под караулом. Женщину эту, может быть, и не погнали бы сюда с родины, а отпустили бы, но, взятая в плен, она тотчас с перепугу вздумала облегчить, свою участь или даже совсем освободиться от пленения. Она заявила, что желает видеть самого командира войска русского, чтобы сказать ему нечто очень важное о себе.

Князь Репнин допустил к себе женщину-поселянку – полупольку, полулатышку. И она сказала ему это нечто о себе…

И вместо свободы она под строжайшим караулом и под самым бдительным надзором особо приставленного к ней офицера была доставлена пешком в Ригу, а здесь заперта в самую строгую камеру городского тюремного замка. И в томительном одиночном заключении, ничего не ведая о судьбе семьи своей, высидела она почти два месяца.

Наконец, сегодня ее потребовали внезапно сюда, в этот дом, чтобы поставить пред лицо самой русской царицы.

Что будет после этого свидания? Тюрьма опять? Или кнут? Казнь? Ссылка за тридевять земель? Все может быть. Но что будет – она окончательно не может предвидеть… И бедные дети осиротеют! Да и живы ли они теперь…

Этот командир русских войск, зная, где семья женщины, мог уже давно распорядиться и о них, мог указать их плененье и заточенье или угон куда-либо.

Может быть, дети с мужем давно в Россиях! – сотни раз в день вздыхает и бормочет женщина. И ее разуму представляется, что в этих «Россиях» жизнь детей не что иное, как ряд самых страшных мытарств, мук и истязаний,

– Однако ты, любезная, будто омертвела. Ушла в свои мысли… Очнись! Эй!

Вот что услыхала наконец женщина над собой и, очнувшись, почувствовала на плече руку, которая ее тормошила. Пред ней стоял тот же седой пан.

– Очнись, Христина. Вставай! Иди за мной… – говорил он ей по-польски, ухмыляясь ласково и добродушно.

Женщина почти бессознательно повиновалась. Она встала, двинулась вслед за паном, прошла двери, потом богатую, но мрачную темно-красную с золотом горницу, затем другие двери и вошла наконец в маленькую угольную горницу с двумя окнами на площадь…

Тут было ярко светло, как-то радостно, весело.

В углу, у открытого окна, на высоком кресле, с золотой скамеечкой под ногами, сидела моложавая на вид женщина. Маленькие ножки в голубых сапожках высунулись из-под короткой атласной юбки, тоже голубой. Белый шелковистый платок окутал ее от полной шеи до талии.

«Ах, какая красавица! А какие сапожки! Какое платье!..» – невольно ахнула мысленно Христина.

Женщина эта, белая и румяная во всю пухлую щеку, чернобровая и черноокая, глядела на нее, широко раскрыв свои блестящие глаза под черными и тонкими бровями. Она улыбнулась. Лицо ее так и засветилось вдруг, будто все оно засмеялось И губы, и глаза, и вздернутый носик, и черные ниточки-брови – все смеется враз.

Вошедшая смутилась и стала тяжело дышать, но вдруг что-то будто толкнуло ее, будто кто-то приказал… Может быть, это пан приказал ей… Она двинулась еще на шаг, опустилась на колени и бросилась вдруг в ноги красавице. Голова ее повалилась около этой самой золотой скамеечки, где стоят рядом маленькие ножки в голубых сапожках.

Это была сама царица. Христина поняла тотчас. Кто же может быть эта красавица, коли не царица. Не только она сама, ее сапожки, золотая скамеечка под ноги, но и вся горница эта, воздух и свет в этой горнице – все какое-то особенное. От всего повеяло на упавшую в ноги женщину чем-то чего она никогда еще не видала и никогда не ощущала.

Не сразу пришла крестьянка в себя и не сразу встала на ноги, хотя пан воин давно ее поднимал и что-то говорил ей громко по-польски.

Царица протянула ей руку. Она бережно поцеловала беленькую и хорошо пахнущую ручку.

Затем женщина уставилась дико глазами в лицо сидящей, глядела, все глядела, не сморгнув, и наконец заплакала и стала утирать лицо руками.

Почему она плакала – она сама не сознавала. Но это было хорошее чувство, которое вдруг в ней сказалось.

III

Царица говорила на полупонятном Христине языке, обращаясь к военному пану. Он обернулся к крестьянке и, заговорив снова по-польски, стал ей делать вопросы, а затем, тотчас же обращаясь к царице, очевидно, повторял ей то же.

Он выспросил Христину о месте ее жительства, об ее положении, о том, как она попала в Ригу.

Государыня по-немецки приказала полковнику заставить женщину подробно и толково рассказать все, что она знает о родных своих и судьбе всех членов семьи.

– Отца твоего зовут Самуилом Сковоротским? – начал полковник.

– Да. Самойло Сковоротский, или Сковорощанек. Звали и Скавронком.

– Это уже не фамилия, а прозвище… – заметил полковник.

Передав ответ Христины государыне, Гребенка прибавил от себя, что скавронек значит по-польски жаворонок. Затем он снова начал свой допрос. Женщина отвечала.

– Отец Самуил, или Самойло, а мать Доротея, по девичеству Ган, давно умерли, когда я была еще очень маленькая. Была у нас в крае какая-то особая болезнь, от которой много народу умерло в одно лето. Говорили, что это болезнь турецкая… Здоровый совсем человек заболевал вдруг и в два-три дня чернел весь и умирал. Сначала умерла мать. Отец очень горевал и не давал ее хоронить – с ней, с мертвой, сидел. Но тут же сам заболел и в день помер. Так что их вместе и хоронили.

– Сколько вас детей осталось?

– Пятеро. Три девочки и два мальчика. Я, как старшая, занялась хозяйством.

– Спросите у нее все имена их! – выговорила государыня, когда Гребенка передал ей слова женщины.

– Я, старшая, Крестиной, или Христиной, зовусь; братья именем: старший Карлус, младший Дирих, а сестра средняя, что замужем ныне за хлопом Якимовичем, Анна.

– А третья? Имя третьей? – нетерпеливо и с легким волнением вымолвила государыня.

– Третья, самая младшая, совсем малюткой оставшаяся после родителей, звалась…

Христина запнулась вдруг и глаза ее забегали испуганно. Она не знала, как ей быть, как поступить.

– Ну, как же звали третью девочку? – вымолвила государыня, а затем повторил уже два раза и пан воин.

– Я не знаю… – глухо и робко промолвила Христина.

– Как не знаешь? – воскликнула царица, очевидно взволнованная донельзя.

– Ты же сейчас мне там, в столовой, говорила имя, – сказал Гребенка, – а теперь говоришь – не знаю.

– Да ведь вы приказывали не называть… вот их… – забормотала растерянно Христина.

– Отвечай прямо на вопрос, – строго произнес полковник. – Как звали твою младшую сестру?.. Ну?

– Мартой, – чуть слышно вымолвила женщина, но продолжала храбрее: – Я ее очень любила, когда она осталась сироткой у меня на руках… Но тут приехала тетка наша родная, жившая в Крейцбурге. Она была богатая барыня. Она взяла у меня ее и увезла. И с тех пор мы ее не видали никто.

– Как звали эту тетку твою? – спросил полковник, повторяя вопрос государыни.

– Плохо помню. Погодите… Нет, не могу…

– Василевская? – произнесла государыня, обращаясь прямо к Христине.

– Так. Так… Нет, вспомнила… Веселовская… Она недолго прожила, лет не больше восемь или десять…

– Куда же девалась девочка, твоя сестра? – спросил полковник.

– Ее взял к себе на воспитание лютеранский пастор по фамилии Глюк и обратил в свою веру.

Государыня при этом имени двинулась на своем кресле, глаза ее глянули пристально на Христину, и слезы блеснули на ресницах.

– Правда. Все правда! – выговорила она тихо Гребенке. – Нечего более спрашивать…

– Мы часто справлялись о нашей сестрице, – продолжала Христина рассказ уже сама. – И мы все знали, что с ней делается… Так узнали мы, что однажды в Мариенбурге один солдат, именем Иоган…

– Полковник! Довольно. Велите ей замолчать. Больше ничего не надо! – вымолвила государыня быстро.

Христина наполовину поняла приказание, и, прежде чем Гребенка перевел ей слова царицы, она замолчала сама и потупилась.

Но чрез несколько мгновений государыня снова заговорила, обращаясь к полковнику, а старик снова начал свой Допрос.

– Где же ты теперь живешь?

– Я жила в деревне Кегема, у моего пана шляхтича Вульфеншильда. Муж и родился его холопом, а когда я за Янко замуж вышла, то и сама стала крепостной пана.

– А другие твои где и что делают? Братья и сестры?

– Брат Карлус был на большом тракте Псковском в постоялом дворе, или по-нашему в «яброушкане», главным приказчиком. Хозяин «виасибас намс», или трактира, очень его любит, доверяет ему, и Карлус большое жалованье имеет: двадцать злотых получает и половина ему от оброка остается.

– Польских злотых? В месяц? Или же двадцать русских золотых, то есть червонцев, в год?

– Ох! Как можно! – воскликнула Христина. – Двадцать злотых – в месяц.

– Десять рублей русских, стало быть.

– Мы, ясновельможный пан, ничего об Россиях не знаем и денег Москалевых никогда не видим. Мы от москалей только разоренье терпели и терпим. Они у нас наши деньги отнимают, а не свои нам дают…

– Карлус и Анна тоже крепостные? – перебил полковник наивную болтовню.

– Да. Разных господ.

– Семейные?

– Карлус семейный. А сестра Анна совсем особо… В других краях. Была в польских Лифляндах, а ныне и не ведаю где. Ее панна злючая и богатая. Она все Михаилу Якимовичева с женой и детьми из одной экономии своей в другую переводит и замучивает работой. Анне хуже, чем нам всем. Не знаю, жива ли она ныне?

– Как зовут эту барыню?

– Ростовская… Вдова. По мужу старостиха… Это староство было большое, людное, богатое. Он важный был пан. Панна и его уходила, в гроб свела.

Полковник все подробно передал государыне.

Екатерина все внимательно выслушала, вздохнула и, потупившись, задумалась глубоко.

Затем, перемолвившись тихо с стариком и помянув раза два имя князя Репнина, государыня встала с своего кресла, достала ларец из комода и, вынув оттуда кошелек с червонцами, отсчитала двадцать штук…

Она подошла к Христине, ласково, но грустно глядя ей в лицо, и сунула ей горсть червонцев в руки.

Христина, от роду не имевшая золотых монет в руках и лишь раза три или четыре в жизни видевшая червонец издали, обомлела, а затем, судорожно сжав монеты в руке, повалилась в ноги царице.

– Отпусти меня на свободу! – по-польски воскликнула она. – Деньги мне не нужны. Мне найти бы мужа и детей… Детей повидать!

– Успокойся! – вымолвил старик. – Это само собой будет. Завтра же ты будешь выпущена из замка на свободу и можешь отправляться домой. Ну, а теперь встань и слушай. Государыня велит тебе сказать, чтобы ты сама и все вы, братья и сестры, ждали и надеялись на перемену в своем состоянии. Будете вы освобождены от тяжелой работы… Когда – сказать мудрено. Потерпите покуда… Но теперь ты повидай братьев и, если можно, повидай и Якимовичевых и всем крепко накажи одно: не болтать о себе. Не пускать в народ соблазн. Никогда о царице не говорить даже промеж себя и даже имени ее не поминать. О тех всех обстоятельствах, кои вы можете знать, ничего никому не сообщать… Марта Сковорощанка, а там Василевская, была на свете, но ныне ее нет. А государыня Екатерина Алексеевна обещает вам, что если вы будете все вести себя тихо, без разглашенья о себе в народ всякого вранья, то ничего лихого вам не будет и в будущем ваше житье устроится лучше. А будете неспокойно себя вести, то приключится вам всем, конечно, очень худо. Поняла ты?

Христина поклонилась в ноги царице, поцеловала снова ее душистую ручку и смущенная, красная, в слезах от избытка волнения, неуклюже ступая босыми ногами, вышла из горницы.

Полковник довел ее до крыльца. И снова под конвоем офицера и солдат двинулась Христина по улицам Риги.

Когда они вошли на большой пустырь, с которого открывался свободно вид на порт, Христина увидела вдали, на самом берегу реки, высокую насыпь вроде кургана. Вокруг этого кургана двигалось более сотни рабочих с тачками и лопатами. Тут, очевидно, были недавно начаты земляные работы.

На самом кургане стояла кучка лиц в кафтанах с позументами, блестевшими в лучах солнца.

Среди кучки, но немного выдвинувшись вперед, стоял один человек, в темном коротком кафтане, в ботфортах и в плоской шляпе о трех углах, надетой набекрень. Он поднимал руку над рекой, переводил ее на город и, указывая, что-то разъяснял… Во всей осанке этого человека и в движениях этой руки сметливая Христина тотчас же увидела или почуяла что-то особенное…

– Кто энто стоит? – робко спросила она у конвойных указывая на курган.

– А ты как думаешь? – шепнул, улыбаясь, один из солдат. – Это госуд…

– Молчать! – строго крикнул офицер.

Христина невольно вздрогнула и обернулась на крик. Молодой офицер сурово глянул на нее и на солдата, а затем перевел глаза на тот же курган.

И в этом взгляде его сказалось тоже что-то особенное, тревожная робость, или восторженное почтение, или иное что… Он глядел в сторону кургана, где отчетливо рисовалась на синеве неба статная фигура с мощно и властно поднятой рукой, как стал бы он глядеть на какое-либо знамение в небесах, виденное им не раз, но все же чудесно-таинственное и трепет внушающее…

IV

Девушка простого, темного происхождения, сирота Марта Сковорощанка, или Василевская, или Глюк, которую добрые люди, тетка и пастор призревают из жалости по очереди, делается вдруг подругой титана в истории народов, а затем и императрицей?! Какое простое, но вместе и странное сочетание обстоятельств! Простой случай, если скрытый мотив его – обыденная прихоть или каприз царя, нежданно встретившего и полюбившего красивую сиротку? Но разве он мало встречал таких девушек, мало было вокруг него красивых женщин, которых он мог бы полюбить и приблизить к себе, а затем, в силу простой привычки, и жениться.

Нет. Гениальный «чудотворец-исполин» ничего не делал зря, по прихоти… Руководя необъятным титаническим делом, кладя в него всю свою могучую душу, он владел всем и всеми, а равно владел и собой. Второе много мудренее первого.

Когда-то он любил искренно девицу Монс, но едва лишь оказалось, что она за свои тайные, неблаговидные дела достойна наказания, он скрепя сердце, но не колеблясь, передал ее в руки палача.

Выбрать и взять в жены русскую родовитую боярышню, как делывали его отец, деды и прадеды, было нетрудно. Он еще отцом был обвенчан с боярышней из рода Лопухиных, у него была мать из рода Нарышкиных, были сводные братья и сестры – по матери своей – Милославские.

И что же явилось последствием этих трех браков. Смута государственная, стрелецкие бунты, междоусобица даже на самых улицах Москвы и среди кремлевских соборов. Пороги святых храмов Божиих, ступени заповедного Красного крыльца, паперть усыпальницы царей, даже амвон чтимой народом обители иноков – все обагрилось кровью от братоубийственной борьбы за власть!.. Чью? Родичей царевых, а не самого царя… Все это видел своими проницательными глазами отрока, а затем понял сердцем и оценил разумом мужа тот, которому предопределено было стяжать себе наименование Великого еще от современников, не только потомства. Он казнил люто бунтарей-стрельцов, на устрашенье крамолы. Он постриг и заточил в дальний монастырь жену из рода Лопухиных, и вся ее родня, напуганная пыткой и судом Преображенского приказа, притихла. Он постриг и заточил в другой монастырь смелую и властолюбивую сестру, боровшуюся с ним за корону и за престол при пособничестве целой стаи родичей Милославских… И этот буйный лагерь главарей всех стрелецких мятежей тоже смирился.

Его родня по матери частию погибла в борьбе, частию была при нем, но, уже боясь играть огнем, не увлекалась погоней за властью и за первенствующим значеньем около особы царственного родича.

Неужели же можно ему опять искать жену в среде родовитых и властолюбивых боярских семейств? Так было до сих пор, но больше никогда так не будет! За московских царей выходили замуж русские боярышни, но с императорами всероссийскими они уже венчаться не будут!..

И вот царь-император даже и не помышляет о второй женитьбе. Работа кипит кругом от зари до зари повседневно и повсеместно. Работник Петр Михайлов, то фейерверкер или рулевой, то плотник или землекоп, то законодатель, то веселый собеседник, но и грозный исправитель пороков своих помощников, не находит и мгновения свободного, чтобы подумать о новой царице, о подруге жизни, о жене, о помощнице… с которой бы в краткие минуты отдыха отводить свою душу в дружеской исповеди всех дум и надежд, предприятий и начинаний…

Но ведь она уже есть! Она давно около него. Он подстерег нежданно в себе уже окрепшее чувство! С каких пор внедрилось оно и овладело им – Бог весть!

Она круглая сирота и обожает его. У них уже двое детей. Но она не коротает в сонливой праздности день-деньской у окна терема. Она всюду с ним, не расставаясь ни на миг: и товарищем в бурю на утлой шлюпке, и подругой в лагерной палатке под огнем неприятеля, и хозяйкой за столом в веселой пирушке, где из шуток-прибауток хозяина и друзей нередко родятся новые великие подвиги. Она его тень… Сирота, красавица, умница, со смелой душой и нежным сердцем, участвующая во всех его деяниях и даже мечтах о будущих делах – послана судьбой… Она и не знала терема, ее разум не омрачен суеверными сказаниями и обучением мамушек и сенных девушек. Она все понимает, что он хочет и к чему стремится своей мощной душой. Она любит все, что он любит… Так как же он этой сироте не отдаст всего себя?!

V

Через три дня после свидания с царицей Христина Енрихова была уже за несколько десятков верст от Риги.

Медленно, шагом, с остановками тащилась она по большой дороге на Псков в маленькой тележке, запряженной в одну лошадь, которая от худобы и старости едва двигалась.

Христина ехала не одна. Из боязни нападения и потери сестриного подарка она выискала себе попутчика, пожилого крестьянина, возвращавшегося на родину, родом латыша. Чрезвычайно грубоватый на вид, здоровенный и сильный мужик был самым подходящим спутником для Христины, тем более что молчал всю дорогу как убитый. Хотя Христина и знала порядочно по-латышски, но теперь ей было не до бесед и разговоров. Она сидела в тележке около своего попутчика почти такая же задумчивая, как и во дни заключения.

В первые минуты после посещения московской царицы, с кучкой червонцев в руках, с радостной надеждой повидаться вскоре с семьей, если все целы и невредимы, Христина чувствовала себя совершенно счастливой. Но затем, после двух суток тихой езды по бесконечной столбовой дороге, передумав все, вспомнив и перебрав до мельчайших подробностей свое свидание с царицей, сметливая женщина сообразила, что ее смутные надежды и мечтания теперь почти разрушены. Правда, ее немедленно выпустили на свободу из тюрьмы. Царица была с ней ласкова, подарила ей целую горсть червонцев, но и только. Она снова возвращалась в то же крепостное состояние, к своему барину-шляхтичу. Пан полковник сказал ей, чтобы она надеялась со временем на улучшение их судьбы. Но пока нет ничего, кроме этих червонцев, которые скоро и уйдут на восстановление разоренного москалями хозяйства.

Иногда Христина думала и даже бормотала вслух на своем родном языке, которого не понимал латыш.

– Слава Матке Божьей, благодарение пану Богу, что и на свободу выпустили да денег дали. Могла я умереть в заключении и никогда детей не увидать.

Но в другие мгновения та же Христина точно так же бормотала:

– А ведь царица, если бы захотела, могла бы нас выкупить из неволи, сделать вольными, освободить из рабского состояния и крепости. Ей это ничего бы не стоило. Одно слово царю сказать.

И Христина глубоко вздыхала.

Женщина решила теперь прежде всего заехать по дороге к старшему брату, чтобы повидаться с ним и разузнать о судьбе своей семьи. Быть может, узнает она и худое! Все не так страшно услыхать дурные вести, чем сразу приехать на пустое место, где нет и следа ни дома, ни семьи.

До местечка Вишки, где жил брат ее Карлус, было от Риги довольно далеко, и Христина только дней через десять пути въехала в большое селение, где жил брат, служа главным лакеем в «виасибас намс», или в трактире.

Сестра с братом так давно не видались, что в первую минуту даже не признали друг друга и, только присмотревшись обоюдно, расцеловались по-родственному.

– Слышал ли ты, Карлус, что-нибудь об Янко и моих детях? – был первый вопрос Христины, и сердце замерло в ней от боязни услыхать что-нибудь худое.

Вести Карлус, по счастию, имел, хотя и не свежие, но относительно хорошие. Он слышал, что она, Христина, была взята в плен и угнана русскими войсками, но что ее муж и дети живут невредимы на месте, хотя на пепелище, так как все было разорено московскими войсками.

– Живы?.. Целы?.. – воскликнула Христина.

– Невредимы, – отвечал Карлус. Затем он тотчас же предложил послать за одним земляком Христины, который за неделю перед тем явился в Вишки с родины и мог сообщить ей что-либо новое об ее семье.

Земляк оказался в отсутствии. Он случайно выехал в соседний Дохабен. Поэтому брат с сестрой тотчас же собрались туда, так как деревня была в нескольких верстах от Вишек.

Население деревушки Дохабен, принадлежавшее поляку Лауренцкому, было почти сплошь латышское, только с десяток литвинов и поляков. Марья Сковорощанка была литвинка. И пятеро детей стали латышами. Старшему сыну, Антону, было уже более пятнадцати лет, среднему, Мартыну, пять, младшему, Ивану, три года, а дочери Софье четырнадцать, и все они говорили только по-латышски, кроме крошки девочки Анны, еще лепетавшей.

В то самое утро, когда Карлус с сестрой приближались к Дохабену, верстах в двух от деревни шел покос.

Утро было ясное, еще прохладное, и кучка косцов бодро шагала в ряд по лугу, размашисто кладя в грядки высокую душистую траву.

Невдалеке от косцов, по опушке небольшого леса, который клином вдавался в луг, шумела и резвилась кучка девушек и подростков, принесших из деревни обед для работников. С десяток девушек разного возраста, но не моложе десяти и не старше семнадцати лет, в ожидании обеда их отцов и братьев занялись своим делом или затеей…

Все они, набегавшись досыта по гладкому, будто выбритому лугу, принялись выбирать из грядок скошенной травы полевые цветы… Скоро у всякой из них появился в руках целый пучок цветов. Все сели в круг и начали плести венки.

– Ну, кто ж будет Яункундзе? – заговорила по-латышски одна из старших девушек, очень некрасивая, по имени Хевуска.

– Кто? Все равно. Выбирать надо! – отозвались звонкие голоса. А то вон – Сковорощанку.

– Опять Софью! Что ж все она? Ее уж и так часто выбираем.

– Она лучше всех Яункундзе. С ней веселее! – отозвалось несколько голосов.

– Я не хуже Софьи делаю! – важно сказала неуклюжая Хевуска.

После недолгого спора большинством голосов решено было все-таки избрать Сковорощанку, и все обратились к девочке лет четырнадцати, но уже настолько развитой, что по внешности она казалась девушкой.

– Ну, ты будь опять Яункундзе. Смотри, выдумывай похитрее, – выговорила, завистливо косясь на девочку, крайне неказистая, рябоватая Хевуска.

– Хорошо. Уж не учи! – бойко отозвалась избранница.

И дочь Карлуса, Софья, чернобровая девушка-подросток, с огненными черными глазами, изящная и красивая лицом и станом, выступила вперед…

Тотчас гурьба переместилась в лес, ближе к дороге, где был большой «акменс», камень. Софья уселась на этот камень как на трон, его обвили цветами и травой, а на нее надели самый красивый из венков, сделанный рябоватой Хевуской. Остальные венки сложили у ее ног. Все девушки и девочки стали по очереди подходить к Софье, кланяясь низко, величая ее Яункундзе и прибавляя: «Что твоя ясновельможность укажет?»

Игра эта была занесена из Польши с некоторыми изменениями. Польская «краля» стала здесь Яункундзе, то есть просто барышня, дворянка.

Девочка выкрикивала вопросы, после которых раздавался часто оглушительный смех. Но посторонний, конечно, никогда бы не понял, в чем заключалась соль, или остроумие, этой игры и этих вопросов. Весь смысл вертелся на местных деревенских интересах, намеках, сплетнях и пересудах.

На каждую, после ее ответа, Софья надевала венок, смотря по достоинству ответов, лучше или хуже; некоторым достались венки, сделанные почти из одной травы.

Чрез несколько мгновений кучка играющих уже распределилась по сословиям. Тут была Яункундзе Софья, были панны, барыни, и были крестьянки, батрачки…

Все обращались к Софье за приказаниями, и девочка бойко, затейливо и умно придумывала для каждой какое-нибудь занятие, но отдавала приказание свое на ухо… Прясть, шить, копать, кушанье готовить, дрова рубить, картофель чистить…

Разумеется, каждая должна была исполнить приказание Яункундзе так искусно, чтобы все догадались тотчас, что она делает…

В самый разгар игры появилась вблизи на дороге фура, запряженная парой бодрых коней самого пана, помещика Дохабена. Фура, отвозившая сено по соседству, возвращалась шагом и пустая в Дохабен. Пропустить такой редкий случай было невозможно. Девушки бросились со всех ног на дорогу, атаковали с двух сторон возницу и, не смотря на уговоры старика латыша не лезть к нему, все лезли. Старик погнал было с места рысью, но девушки бросились вдогонку, хватали лошадей под уздцы, а здоровенная Хевуска даже повисла на дышле, за которое уцепилась.

– Увидит пан – всех вас велит перепороть, а меня, после розог, засадит еще в чулан. Голодом сморит! – тщетно протестовал возница.

– Не увидит! Небось! Не увидит!.. – гудело вокруг старика, и с хохотом, визгом все полезло в фуру на ходу, рискуя попасть под тяжелые колеса.

На дороге осталась одна Софья.

– Ты чего же! Лезь! – кричали ей все.

– Полезай уж! – сказал и старик. – Одной больше – все равно.

– Я так не могу, – отозвалась девочка серьезно. – Останови. На ходу я не полезу…

– Вишь какая! Яункундзе и впрямь! – раздались голоса и хохот уже сидевших товарок. – Милости просим, осчастливьте нас, Яункундзе.

Софья влезла, ее усадили посредине, и тотчас же раздалась визгливая, но веселая хоровая песнь… Старик не утерпел и тоже начал дрябло подтягивать молодым голосам…

Чрез несколько мгновений в Дохабен въезжала фура, переполненная веселой гурьбой. Юные лица девушек казались еще веселее, оживленнее и красивее из-под цветистых, пестрых венков. Даже на старого возницу, взятого приступом, шаловливый неприятель напялил громадный венок. Латыш сидел покорно, добродушно и глупо ухмыляясь из-под нависших на лицо травы и цветов, но повторял все свое:

– Вот всех пан перепорет.

Но едва только фура въехала в усадьбу, вся гурьба выскочила из нее немедленно и рассыпалась по домам.

– Карлус! Отец приехал! – крикнул кто-то Софье.

Девушка стремглав бросилась домой. Действительно, в избе их еще издали замечалось что-то особенное.

VI

Весть о неожиданных гостях скоро обежала всю деревушку, и в этот вечер обыватели толпились около избы Карлуса.

Приезд Христины, конечно, стал событием, и даже пан Лауренцкий осведомился о прибытии Енриховой и зашел ввечеру поглядеть на гостью.

От радости неожиданного свидания с Христиной или по совпадению, но на другое же утро семья Карлуса прибавилась новорожденной девочкой.

В постоянных рассказах от зари до зари о приключениях в Риге и свидании с императрицей москалей, Енрихова предложила назвать новорожденную именем царицы.

Чрез два дня назначили «кристибас», крестины, и назвали девочку Екатериной. Для населения же Дожабена эта «яундзимусе», новорожденная, была по-ихнему Трина.

Христина была, конечно, крестной матерью, и вся семья весело отпировала появление на свет Божий яундзимусе.

Вместе с тем разысканный земляк Енриховой сообщил ей добрую весть, что муж ее Ян и все дети, слава Богу, живы и здоровы.

На крестинах, во время пирования, речь шла, конечно, все о том же – о свидании Енриховой с сестрой. Дохабенский ксендз хотел, разумеется, узнать подробности этого свидания. Он уже знал, конечно, о родстве Карлуса с русской царицей, так как это было известно некоторым лицам околотка не только в Дохабене, но, конечно, и в Вишках. В гостинице, где служил Карлус в должности буфетчика, и хозяин, и прислуга, и ямщики – все знали об исключительном родстве Карлуса Сковорощанка, или, как звали его чаще, – Сковоротского. Но всем плохо верилось в правдивость этого обстоятельства.

Ксендз теперь подробно выспрашивал Христину обо всем и невольно тоже дивился.

– Как же она ничего не спросила у вас о вашем состоянии! – удивился он. – Тут очень мудрено понять… Если бы она гнушалась вами, затруднялась вашим крестьянским состоянием, то вас бы, по моему мнению, всех засадили бы в тюрьму или, еще того вернее, выслали бы куда в глубь России, чтобы не было смутительных разговоров о вашем родстве. Но если она тебя вызвала, объяснялась, даже денег дала, то почему же она не пожелала освободить вас от панской крепости и холопства?

И ксендз, уже пожилой человек, умный и начитанный, соображал про себя в то же время, что это его предположение о заключении в тюрьму и о ссылке еще, может быть, станет действительностью в недалеком будущем.

«Она не знала, что все эти родственники существуют и о себе явно все сказывают, – думал он. – Теперь она узнала, где кто живет, и вот надо ждать для всех них чего-нибудь особенного. И, по всей вероятности, не чего-либо хорошего».

Так как ксендз любил семью Сковоротского, всегда покровительствовал ей, помогал и советами и деньгами, то теперь решился и предупредить Карлуса о том, чего он опасается.

– Вам бы, мой любезный Карлус, собрать всю семью и переменить место жительства, – вымолвил он. – Как мне ни грустно расставаться с вами, а я бы вам это советовал. Попросите вашего пана Лауренцкого продать вас кому-нибудь – и уезжайте.

– Это невозможно! – замахала руками Марья. – Пан Лауренцкий никогда не продаст нас. Карлус платит ему слишком выгодный оброк. Где он найдет такого холопа, который бы имел место буфетчика в гостинице.

– Да и зачем нам менять место? – вступился Карлус.

– А затем, мой сын, что меня берет сомненье.

Ксендз обратился к Енриховой, задал ей еще несколько вопросов о свидании с царицей, потом покачал головой и подробно разъяснил им все свои опасения.

– Не можно отнестись к вам так просто, оставить вас в том же состоянии. Или бы она обещала Христине всех вас вскоре освободить от ваших панов и дать вам средства к безбедному существованию, или же ей надо будет просить царя всех вас перебрать и сослать в глубь лесов или степей Хохландии, а то и Туркмении. Вы для ее царского состояния видимый в народе соблазн. Так дело, поверьте мне, оставаться не может.

– Она обещала мне чрез пана полковника, – заговорила Христина, – что со временем наша судьба переменится к лучшему.

– Ну, может быть. Давай Бог! – решил ксендз.

На другой день, подарив новорожденной Екатерине червонец, Христина собралась домой, с радостным замиранием сердца предвкушая увидеть после долгой разлуки мужа и малюток детей. При прощании с Карлусом и его семьей Христина долго смотрела на востpушку Софью, дивилась ее красоте и наконец заметила:

– А что я тебе скажу, Карлус. Ведь Софья твоя обещает походить на Марту. Если она будет хоть немножко похожа на свою тетку, то будет писаная красавица. Ведь Марта совсем не такая, как я. Все мы пятеро уродились на два лица: трое совсем черные и двое совсем беловолосые. Ты, Марта и Анна уродились в отца – чернобровые, а я и Дирих в мать – совсем беловолосые. Софья твоя похожа на тебя, а еще больше похожа на царицу. Да ведь как похожа-то! Диковинно? Вылитая уже и теперь маленькая Марта.

– Это дохабенская любимица, – отозвался Карлус. – Да и зовут ее все здесь не иначе как Яункундзе – барышней.

– Что ж. И я скажу. Правда это. Она совсем на крестьянку не похожа. Совсем барышня из шляхты. Может, твою Софью из-за этого сходства царица больше полюбила бы, если б увидала. И стала бы она воистину Яункундзе.

– Что ж, давай Бог! – отозвалась Марья. – Ее сходство с Мартой, может, когда-нибудь ей счастье принесет.

VII

Из всех детей Самуила Сковронека Карлус еще ребенком казался всех умнее. В действительности же он был только прилежнее во всем, находчивее и деятельнее. Христина была неглупа, но слишком спокойна нравом и как бы равнодушна ко всему. Анна была гораздо живее и деятельнее сестры, но зато жестка сердцем и почти злонравна. Ее никто не любил ни в семье, ни в соседстве.

Брат их, Дирих, был добрый и тихий мальчик, но совсем простоват. Какими были все четверо в детстве, таковыми остались и на всю жизнь.

Карлус, как в детстве, так и теперь, был всеми любим за веселый, добродушный нрав и готовность всякому услужить по мере сил. Прилежание и усердие в том деле, которое он брал на себя, делало его дорогим работником для всякого хозяина.

Будучи крестьянином, он, благодаря большому кругу знакомых по соседству и множеству приятелей, попал в Вишки, в маленький постоялый двор, в должность конюха. Вскоре, однако, из конюшни он перешел в горницы прислуживать семье хозяина. А затем, чрез год, перешел уже в большую гостиницу в качестве лакея, и хозяин «виасибас намс» сделал его буфетчиком и своим доверенным лицом.

Пока брат и две сестры добывали себе средства к жизни тяжелой крестьянской работой и жили холопами у разных помещиков, Карлус зарабатывал больше денег более легким трудом. Конечно, жена его, старший сын Антон и даже мальчуган Мартын уже прилежно работали на пахотах и сенокосах пана Лауренцкого, но, имея в Карлусе Сковоротском исправного плательщика большого оброка, шляхтич, строгий и взыскательный к другим своим крепостным, обращался мягче с его семьей. «Сковоротские – не пример другим! – говорил пан. – Они у меня на особом счету».

Иногда Карлусу чудилось, однако, что причина известной мягкости или любезности пожилого и порочного пана другая.

Карлусу, лишь изредка являвшемуся в Дохабен повидаться с семьей, казалось, что на подраставшей и с каждым днем хорошевшей Софье, прозванной на деревне «барышней», остановилось внимание пана.

И эти мысли изредка волновали и смущали Карлуса. Не суждено ли в будущем завязаться роковой борьбе с паном?

Положение усугублялось тем, что его Яункундзе уже теперь была бедовой девчонкой, красивой, вострой, но своевольной. Так с раннего детства подружившись с бобылем-мальчуганом, она теперь вела из-за него войну с родителями. Когда этот бобыль, родом латыш, по имени Давыд или Дауц Цуберка, был уже парень взрослый, то как вольный служил по найму в Дохабене пастухом у того же пана. Софья настойчиво и упрямо, несмотря на выговоры и взыскания, уходила за ним в поле и помогала сгонять и пригонять стадо. Иногда, в наказание, девушку запирали на целые сутки в чулане или в овине, но чрез несколько дней она снова пасла стадо с Дауцем Цуберкой… Софья ревела каждый раз, конечно, винилась, искренно просила прощения, но тотчас снова принималась за старое… Цуберка был для нее все…

Справиться с Софьей было невозможно потому, что она вдруг стала умственно выше своих родных, своих сверстниц и друзей…

Здесь, в Дохабене, в полной глуши, на краю оврага, где протекала маленькая речка и торчал гнилой мост без перил, в бедной деревушке, окруженной пустынной равниной и мелколесьем, появилась на свет самородок-девочка, которая подрастала теперь, становилась ловкой, речистой, бойкой в обращении со всеми, даже с чужими, которых все дохабенцы дичились.

Софья не видела ничего, кроме Вишек и трактира на заезжем дворе, где отец жил в услужении и где, будучи его любимицей, она часто подолгу гостила. Но в этих Вишках, на этом дворе, часто останавливались важные проезжие в кафтанах с позументами и золотыми пуговицами. Экипажи их, совсем не похожие на телеги и фуры местных жителей, их лакеи и гайдуки, их вещи, которые выносились из экипажей в горницы, их речи, манера говорить, двигаться, приказывать, даже взглядывать на обывателей Вишек – ничто не ускользало и не ускользнуло от зоркого взгляда и пытливой смекалки этой девочки.

Смелая, хорошенькая, с черной как смоль головкой, в природных кудрях и завитушках, с огненными черными глазками, с носиком, дерзко и грациозно вздернутым вверх, с звонким, заразительным смехом, который звенел как серебряный колокольчик, – эта дохабенская Яункундзе скоро стала любимицей всех. Так рекомендовали ее и проезжим. Так называли ее и сановники. Девочка без церемонии ходила по всем горницам, когда дом бывал занят гостями.

Каждый проезжий, хотя бы и важный вельможа, невольно обращал на нее внимание. Опросив ее, он получал смелый ответ, соблазнительно веселую улыбку, лучом сверкающий взгляд… И кончалось тем, что проезжий ласкал Яункундзе, угощал тем, что сам ел, всякими сластями, что имел с собой в дороге. Иногда девочка получала ленточку, платок или злотый в подарок.

– Славная у тебя девчонка! – говорили Карлусу все без исключения проезжие. – Бедовая будет! Совсем барышня, а не крестьянка.

И вот это общение с людом, от которого веяло на девочку иным миром, ей неведомым, но ею угадываемым, привело к тому, что Софья скоро поняла и сказала себе:

– Не *все* здесь, в Дохабене и в Вишках! Здесь даже ничего нет… *Все* там… Вон там, за лесом, за полями и оврагами, далеко за ними, очень далеко… Но все-таки туда доехать можно! Оттуда едут и приезжают всякий день. Там живут другие люди, которые поважнее и побогаче пана ксендза и пана Лауренцкого… Вот если бы туда добраться когда-нибудь!..

И дичок-самородок, воспитанный не матерью и отцом, а тысячей проехавших и промелькнувших путешественников, стал, конечно, головой выше многих дохабенских обитателей.

Не только Марья, но даже Карлус, обожавший дочь, не понимали, однако, где Софья набралась и смелости, и ума, и ухваток не крестьянских, а барских.

Пан Лауренцкий изумлялся тоже, откуда бралось в Софье все то, что он, знаток в женщинах, – видел в ней. Они не догадывались, что во многом Софья подражала именно тем проезжим барыням и барышням, которых видела в Витках. Разумеется, если б не было в девочке природной искры, то и прозвище Яункундзе не дали бы ей дохабенские обитатели, и пребывание на заезжем дворе, встречи с сотнями проезжих не принесли бы ей никакой пользы.

Но, кроме того, было еще одно обстоятельство, которого не знал никто: ни мать, ни отец, ни родные, ни знакомые. То, что Софья была живым портретом, живым повторением, или двойником, как внешностью, так и нравом – другой женщины, той самой, которая сумела пленить и покорить себе исполина императора!

Про сходство это никто в семье знать не мог, ибо никто Марту давно уже не видал.

Сорокалетний Карлус был старший в роде, но смутно помнил черномазую сестренку, которую после смерти отца с матерью увезла к себе тетка. Затем эта девочка пропала, так сказать, без вести, и уже спустя лет пятнадцать все Сковорощане, ревностные католики, узнали, что пастор совратил девушку из лона истинной веры в свою секту Лютерова учения. Карлус собирался было в город Мариенбург отнять у пастора сестру и привезти домой, но средств на путешествие не было. Вдобавок, по слухам, Марта, воспитавшись в доме богатой тетки Василевской, стала совсем барышней, они же были по-прежнему крестьянами.

Какова стала собою ныне эта Марта – Карлус знать не мог. И только Христина, недавно видевшая ее, тотчас заметила теперь сходство между императрицей и Софьей.

Уезжая и прощаясь, Христина снова полюбовалась на племянницу. Дорогой из Дохабена в Вишки она снова заговорила с братом о девушке:

– Это подобие твоей дочки с ней, царицей, удивительно. И погляди, выйдет из этого что-либо хорошее для Софьи!

– Давай Бог… Только… когда? Может, когда Софье будет за сорок лет, а я буду на том свете…

VIII

Брат с сестрой, доехав тихонько до Вишек, расстались и разъехались в разные стороны. Христина направилась к себе домой с замиранием сердца, но уже не от неведения судьбы семьи и не от боязни узнать что-либо худое, а от радостного, нетерпеливого ожидания обнять и расцеловать мужа и троих детей мал мала меньше.

Енриховы были крепостными, или хлопами, человека незлого, но строгого и взыскательного хозяина.

Пан Вульфеншильд, немец аккуратный и немного алчный на деньги, был сам хороший работник, деятельный и трудолюбивый, и потому был требователен во всем, что касалось труда.

Он заставлял трудиться и работать своих рабов больше, чем другие помещики по соседству. А между тем многие крестьяне околотка охотно бы перешли в крепость к пану Вульфеншильду от своих господ. Причина была простая…

Пан немец был справедлив относительно трудолюбивых хлопов и никогда никого из них не обижал. Он наказывал строго – но исключительно ленивых или пьяных.

Вульфеншильд был заклятый враг кабаков и гроза пьяниц. Это понимали все дельные крестьяне. Другое же, на что роптали рабы пана, – была его ненависть к праздникам. Будучи сам протестантом, пан не признавал никаких праздников, ни католических, ни православных. Поэтому, когда во всем околотке был пир горой от Миколы или от Ивана Купалы, от Введения или от Покрова – в деревушке Кегема было тихо и все население работало или по избам, или на поле.

Через три дня после отъезда из Дохабена Христина была уже дома и увидела со слезами радости ту хибарку, сколоченную из досок, в которой жила разоренная семья, кое-как устроившаяся на пепелище после прохода русских войск.

Она огляделась с радостным чувством. У нее на шее были зашиты в мешочке царицыны червонцы, на которые можно было выстроить избу и завести еще лучшее хозяйство. Узнав, что муж работает, несмотря на праздник, по приказанию пана Вульфеншильда, Христина, даже не поздоровавшись и не объяснившись с окружавшими ее крестьянами, побежала в поле.

Еще издалека узнала она фигуру Янко, признала и мысленно назвала детей. Шагов за пятьсот не только Янко, но даже ее маленькая девочка ахнули и замерли, боясь обмануться, боясь, что исчезнет дорогой призрак, потухнет сразу тот луч радостной надежды, который сверкнул сейчас у них на душе.

– Мама! Мама! – закричал, наконец, отчаянным голосом старший, восьмилетний, сын и со всех ног стрелою бросился по пашне навстречу к бегущей женщине. Но по дороге его обогнал отец и первый бросился обнимать жену, как бы воскресшую из мертвых.

И скоро все пятеро сидели среди пашни, усмехались и плакали, а маленькая девочка, обхватив мать руками, при малейшем движении ее сильнее льнула к ней, боясь, что мама опять пропадет надолго.

Мгновения, которые переживала эта семья, остаются памятны на всю жизнь.

Разумеется, тотчас же Христина была потребована к пану Вульфеншильду, конечно, тот расспросил обо всем Христину и порадовался за нее, узнав о подарке царицы.

– Увидим, – сказал он. – Может быть, она вас у меня и выкупит на волю. Стыдно ей будет, что вы простые хлопы, когда я сам перед ней ничто, червяк. А теперь – стройтесь на славу!.. Я вам тоже помогу лесом, за полцены дам.

Но Янко, обожавший жену, не радовался деньгам и будущей стройке.

– Мне хоть вовеки под кустом жить и зиму и лето, лишь бы с Христиной! – восклицал он радостно.

Путь Карлуса был много короче пути Христины, но буфетчику с постоялого двора, никогда не отлучавшемуся из Вишек, помимо поездок в родное гнездо в Дохабен, путь показался особенно долог и скучен. К тому же дорога шла по безлюдным местам, где все было мертво, тихо. Наконец, на крутом и высоком берегу небольшой речки показалась маленькая деревушка в несколько хижин, окруженных маленьким леском. Зато на противоположном берегу начинался высокий и густой лес, разраставшийся во все стороны и уходивший на несколько десятков верст. Среди хижин стоял один домик получше других, с большим двором, обнесенным тыном. Это были заезжий двор и станция, где проезжие по тракту меняли лошадей.

До существования двора и наемных лошадей место это было совершенно безлюдно и глухо.

На краю этой недавно выстроившейся деревушки была изба, в которой жил Дирих Сковоротский не с своей, а с чужой семьей, которую он любил как родную.

Дирих не был женат, но уже несколько лет жил с латышкою по имени Трина, у которой были свои две дочери. Отец их пропадал без вести. Может быть, был давно на том свете, но мог легко оказаться в живых и явиться невзначай. Поэтому Дирих и не мог жениться на Трине.

Занятие, которое избрал себе Дирих, ям, и должность ямщика не была ни особенно выгодна, ни приятна.

Лошадей содержатель не жалел и каждый год загнанных от тяжелой работы заменял свежими, но ямщики, которые тоже были в некотором смысле загнаны, сильно терпели от таких порядков. Долго никто здесь в ямщиках не хотел оставаться, один Дирих был старожил, то есть уже лет шесть ездил взад и вперед в обе стороны.

Редко приходилось ему, и то только в самую глухую пору зимы, на сутки оставаться дома, Обыкновенно же он почти не сходил с облучка или с козел и являлся домой, чтобы только поесть или отоспаться.

Разумеется, и Дирих давно бы ушел из этой глуши, но, несмотря на свои тридцать пять лет, был глуповат как ребенок, тяжел на подъем, крайне несообразителен и ничего не умел сделать, ничему не мог научиться. Единственно, что у него в руках ладилось, – были вожжи от двух-трех загнанных кляч.

Много раз, конечно, Дирих собирался бросить невыгодную работу, но Трина, женщина умная, всячески отговаривала своего сожителя от рокового шага, понимая, что Дирих никакого иного места не достанет. А если и посчастливится ему, то никакой хозяин его более месяца держать не станет, потому что Дирих любил выпить.

К несчастию, слабый во всякой работе, он был слаб и для чарки водки. Он падал мертво пьян от количества вина, которое другого мужика только чуть-чуть в жар бросит.

Простоватостью Дириха объяснялось и сожительство с латышкой Триной, женщиной уже за пятьдесят лет и замечательно некрасивой собой, и его обожание к ней. Даже в этом поселке душ в тридцать безобразие Трины было предметом шуток и прибауток соседей и соседок. Но, будучи крайне дурна лицом, она была женщина крайне смышленая и умела даже в своей трущобе зашибать копейку. Поэтому Трина со своими дочерьми и с другом жила лучше, чем другие семьи.

IX

Дирих собрался на станционном дворе закладывать в дышловую телегу пару пегих лошадок и не спеша мазал колесо, когда к нему прибежала из дому старшая девочка, по имени Мадде, еще издали крича ему по-латышски:

– Дядя, дядя… У нас важный купец в избе… Важный… Приехал сейчас.

Дирих не сразу понял. Он бросил мазанье, вздел колесо на ось и, вынув подпорку из-под телеги, спросил у девочки:

– Что ты болтаешь?

– Купец. У нас. На своей лошади. Хорошая лошадь.

– Ты, Мадде, во сне видела?

– Не во сне, дядя. Иди скорее… Мама зовет.

Мадде была настолько встревожена и даже перепугана, что Дирих поневоле должен был верить, если не словам, то лицу девочки. Он попросил другого ямщика отправиться с проезжим вместо себя, а сам быстро пошел домой.

– Да кто же такой этот приезжий? – спрашивал он у девочки.

Но Мадде сама не знала ничего.

Когда Дирих вошел в горницу низенькой и темной избенки, то увидел хорошо одетого человека, с виду купца, а его сожительница Трина вскрикнула с веселым лицом:

– Ну, отгадай, Дирих! Отгадай, кто этот человек? Кто наш гость?

Дирих стал как вкопанный, а купец подошел и вымолвил, смеясь добродушно:

– Немудрено тебе меня не узнать. И я бы тебя теперь не узнал, если бы встретил где на дороге. Прежде всего поцелуемся… Вот так… Ну, погляди теперь мне в лицо хорошенько. Не узнаешь?

– Нет. Виноват… – пробурчал Дирих, смущаясь.

– Есть у тебя брат?

– Есть.

– Как его зовут?

– Карлус…

– Ну вот… Догадываешься теперь?..

Но Дирих стоял истуканом. Он был слишком простоват, чтобы догадаться.

– Да я… Я Карлус. Твой брат Карлус, – воскликнул приезжий.

Дирих ахнул и бросился обнимать брата.

Оглядев друг друга внимательно, братья обоюдно подивились перемене, которая в них произошла.

Карлус тотчас передал брату подарок от Христины – два червонца, и подробно рассказал о свидании ее с царицей. Но, видя, что брат все тот же простяк, неспособный даже понять вполне все то, что он считал необходимым ему передать, Карлус, невольно и незаметно для самого себя, перестал в беседе обращаться к брату, а предпочел все подробно объяснить умной Трине и ее старшей дочери.

Главное заключалось, конечно, в том, чтобы Дирих вел себя осторожнее и не разглашал ничего о себе даже в такой трущобе, как его деревушка.

Трина очень обрадовалась большим деньгам, но весть Карлуса о могущей произойти перемене в судьбе Дириха не только не обрадовала женщину, но даже испугала. Карлус заметил ее тревожный взгляд и набежавшую на лицо тень. Умная латышка поняла тотчас, что в случае какой-либо перемены ее сожительство с Дирихом будет невозможно.

– Ты что пригорюнилась? – спросил Карлус.

– Я ничего… Все это диковинно… И от всего этого, что ты рассказываешь, надо всяких напастей ждать, – ответила Трина.

– Это почему?

– Вас всех: тебя, Дириха, Христину и Анну с вашими детьми – только погубит это свидание Христины. Я тебе говорю верно. Счастия от этого не будет никакого, а беды будут…

В голосе женщины звучала такая уверенность, что Карлус задумался, как бы взвешивая ее слова…

Целый день проспорил с ней Карлус, но кончилось тем, что умная женщина не убедилась доводами Карлуса, а убедила его быть настороже и наготове спасаться от козней русского царя.

Карлус выехал от брата менее довольный и веселый. Он решился быть как можно осторожнее и не только ничего не разглашать о себе, но даже никому не рассказывать о свидании сестры с русской царицей.

По возвращении Карлуса в Вишки он вскоре, однако, заметил, что его положение изменилось. Хозяин стал ласковее, знакомые доброжелательнее.

Его поездка для свидания с братом по делу, которую он, конечно, не скрыл, затем известное теперь всем посещение Христины, а равно имя Екатерины, данное новорожденной девочке, наконец россказни и нескромность местного ксендза – все привело к тому, что в деревушке Дохабен и в самих Витках стали уже чаще поминать и болтать.

Вскоре в шутку стали называть Карлуса «цара бралис», то есть царским шурином, и совершенно незаметно, в каких-нибудь несколько недель, эти два слова стали уже прозвищем. «Цара бралис» говорили все, и все ждали для Карлуса события!..

Так прошло целых два года, которые, однако, не принесли ничего нового, ни хорошего, ни худого…

Прозвище, данное Карлусу серьезно, а не ради насмешки, за это время понемногу перешло уже в шутливую кличку.

X

Однажды летом в Вишках, появился целый поезд, три экипажа и большой фургон с поклажей. Проезжал важный сановник, по имени, хорошо известному в Литве, знатный и богатый магнат, а по мундиру – русский генерал. И действительно, это оказался поляк граф Сапега, фельдмаршал русской службы, отправлявшийся из России на побывку в Варшаву. С ним ехал его сын, красивый и статный молодой человек.

Магнат, вероятно с усталости от дальнего пути или от того, что на дворе стояла отвратительная погода и лил без конца как бы осенний дождь, остановился в Вишках на несколько часов. Затем, найдя в гостинице сравнительную с другими станциями опрятность, хорошую кухню и порядочную обстановку, граф решил остаться ночевать. Наутро была та же скверная погода и старику нездоровилось; он опять решил остаться еще на сутки.

– Там дальше, по пути, опять пойдут, пожалуй, курные избы, так уже лучше вам здесь побыть и отдохнуть, – советовал и молодой Сапега отцу.

Вечером чрез многочисленную свиту, состоявшую, помимо лакеев, из адъютанта, двух секретарей, капеллана и трех егерей, до сведения магнатов достиг удивительный слух, которому они, конечно, сразу не поверили. В этой трущобе, будто бы оказался, – прислуживающий их лакеям, не появляясь в ту горницу, где они сидели, – простой крестьянин, которого считают здесь все близким родственником…

– Что за глупое вранье! – строго сказал фельдмаршал. Приняв известие за дерзкую выдумку, Сапега сначала не обратил на это никакого внимания. Но затем его секретарь, повидавший по собственной охоте лакея Карлуса, явился к сановнику и объяснил ему ради курьеза, да и ради неимения чем заняться на отдыхе, что лакей сам серьезно заявил ему о своем родстве.

Конечно, граф велел тотчас позвать к себе лакея, и Карлус, немножко оправившись, причесавшись и оглядевшись, предстал пред именитым проезжим. Молодой Сапега стал его подробно расспрашивать, с оттенком насмешки в голосе и даже презрения; фельдмаршал молча слушал, но глядел, строго хмуря брови.

Карлус отвечал робко, но естественно и просто объяснил все. И все, что услышали Сапеги, поразило их своим правдоподобием.

Кончилось тем, что фельдмаршал сам заступил место своего сына в качестве допросчика по пунктам.

– Как же тебя звать? – спросил Сапега.

– Карлус.

– Слышал!.. Фамилия твоя как – я спрашиваю. Семейное прозвище?

– Зовут разно… Меня зовут Сковоротский, а сестру старшую до замужества всегда звали Сковорощанкой… Отец назывался Самуилом, а прозвище его было Скавронек.

– А мать… Ее имя как было?..

– Мать звалась Доротеей, по девичеству или по имени отца своего Ган.

– Это немецкое имя: Доротея Ган.

– Она и была немкой, а сестра ее меньшая, Марианна, вышла за русского шляхтича Веселовского, а средняя за Гейденберга. Эту звали Софьей… Да еще брат был Вильгельм… Да еще сестра была, и тоже была за Веселовским.

– Так две сестры были Веселовскими по фамилии мужей? – спросил вельможа.

– Да. Одна за отцом, а другая, меньшая, за сыном его, Яном.

– У которой же воспитывалась твоя сестра, которую ты называешь Мартой?

– У меньшой, Марианны… Старшая, Катерина, уехала в Курляндию и вышла вторично замуж за Дукласа.

– И ты всю эту родню свою знавал и помнишь хорошо? – спросил подозрительно Сапега.

– Еще бы… Ведь я их всех знал, когда мне было уже лет с двадцать, – ухмыляясь, отозвался Карлус. – В честь тетки Софьи Гейденберг, я свою дочь назвал так же.

– Ну, а Марта от тетки Веселовской перешла, говоришь ты, к пастору лютеранскому?

– Да. К пастору Глюку в Мариенбург, а от него попала в плен к русским драгунам.

– Почему же, однако, любезный, ты знаешь, что это твоя сестра Марта? – лукаво заметил молодой Сапега.

– Этого я не знаю…

– Ну, вот видишь ли, голубчик, – строго заговорил фельдмаршал, – все это выдумки, и опасные выдумки. Напрасно ты такой вздор о себе болтаешь. У тебя пропала взятая русскими в плен сестра – и на этом одном случае ты основываешь целую глупую историю. Мало ли женщин в Лифляндах во время войны были взяты в плен московскими войсками. Так всем родственникам их всякую из них и почитать теперь русской императрицей?

– В Крейцбурге и в Мариенбурге все так говорят, – оправдывался Карлус, – что именно наша Марта и есть царица Екатерина.

– Все это одно вранье. И ты за такое разглашение о себе можешь дорого поплатиться. Прекрати это вранье. Худо будет. Вот тебе мой добрый совет! – строго сказал Сапега, отпуская лакея.

Однако магнат польский и фельдмаршал русской армии, много живший в России и знавший все, что знали обе столицы, да и вся империя, о загадочном происхождении русской императрицы, не мог равнодушно отнестись к рассказу буфетчика постоялого двора.

Карлус, решивший быть по совету сестры осторожным, умышленно не все передал магнату, очевидно допрашивавшему его ради праздности и пустого любопытства.

Карлус предпочел лучше прослыть в глазах графа Сапеги за болтуна, нежели упомянуть о свидании в Риге. Он не проронил поэтому ни слова о беседе Христины с государыней.

Но на этот раз осторожность Карлуса ему только повредила. Если бы Сапега узнал от него, что недавно сама русская императрица виделась с Христиной, подарила ей денег, расспрашивала о судьбе всех других членов семьи, то он наверно не сделал бы того, что он теперь счел долгом сделать немедленно.

Здесь же через час после беседы с буфетчиком магнат написал подробно о своей встрече в гостинице местечка Вишки. Он передал все человеку придворному и влиятельному, генералу Девьеру, женатому на родной сестре князя Меншикова.

Между тем пока вельможа писал письмо, сын его был в соседней горнице, куда один из секретарей привел красивую молоденькую девушку, пойманную им случайно в коридоре. Молодой Сапега осматривал чернобровую и востроглазую девушку, как любопытного зверька. Дичок-самородок забавлял его своей манерой держаться и своими бойкими ответами.

Молодая девушка отзывалась тихо, но резко, едва шевеля губами, гордо закидывая красивую кудрявую головку и как бы неприязненно меря взглядом обоих собеседников с головы до ног.

– Правду говорит он, – сказал Сапега, показывая на секретаря, – что ты себя называешь Яункундзе?

– Неправда!

– Как неправда! – воскликнул секретарь. – Ты сейчас в коридоре мне сказала, что это твое прозвище.

– Ну, да.

– А теперь ты говоришь: неправда.

– Вы что спросили? Как я себя зову? Я себя зову Софьей. А другие меня зовут Яункундзе. Не я же себе это прозвище дала.

– Есть у тебя жених? Собираешься ты замуж? – спросил Сапега.

– А у вас есть невеста? Собираетесь вы жениться?.. – отозвалась Софья.

– Да тебе это не любопытно, я полагаю.

– Ну и вам тоже про меня знать это не любопытно.

– Вишь какая сердитая. А красива… Ты очень красива, Яункундзе.

– Да.

– Что да?

– Красива.

– Сама знаешь это…

– Конечно. Кому же это и знать, как не мне!

Сапега рассмеялся, секретарь тоже.

Около получасу проболтал так молодой граф с молоденькой крестьянкой и, дав ей коробку сластей, отпустил со словами:

– Будь ты моя крепостная, я бы тебя ни за кого замуж не выдал, а взял бы себе.

– Насильно? – отозвалась тихо Софья, презрительно усмехаясь и идя к дверям.

– Нет… Может быть, ты… Я думаю, что ты бы сама… Вероятно, ты бы меня…

Сапега запутался и смолк, удивляясь внутренне самому себе, то есть своему легкому смущению.

– Пан уж очень много о себе воображает! – вымолвила Софья на пороге. – Я знаю одного пастуха, который много красивее пана графа.

Сапега рассмеялся громко и весело. Софья искоса глянула на него своими угольными глазами из-под опущенных наполовину ресниц, и взгляд ее выразил одно гордое презренье.

– Даже не верит, – воркнула она и исчезла за дверью.

Наутро рано один из егерей графа Сапеги выехал из Вишек с письмом в обратный путь, в Россию. Около полудня все экипажи были заложены и поданы. Именитые проезжие отправлялись далее.

Когда граф-фельдмаршал вышел на крыльцо в сопровождении сына и всей свиты, густая толпа поселян с обнаженными головами окружила постоялый двор и экипажи.

– Вон она, батюшка! – тихо сказал по-немецки молодой Сапега, указывая отцу глазами на красивую девушку, стоявшую близ крыльца впереди других крестьянок. Фельдмаршал пристально пригляделся и вымолвил на том же языке:

– Странно. Очень странно!

– Что? – спросил сын.

– Сходство.

– С кем, батюшка?..

Но старый граф не ответил и пошел садиться в экипаж.

Молодой человек сел вслед за отцом, затем выглянул из окна кареты на Софью и ласково кивнул ей головой.

Девушка не шевельнулась и даже бровью не двинула в ответ. Экипажи тронулись шибкой рысью и скоро исчезли за домами и околицей. Софья задумчиво смотрела вослед. На сердце ее что-то происходило. Она в один миг вчера возненавидела молодого вельможу. Ну, так что ж? Ведь он уехал! Она никогда более за всю жизнь не встретит его и не увидит. Да, кажется… Вероятно…

В это же мгновение молодой граф Сапега, глядя из экипажа на унылую дорогу, думал об этой Яункундзе из Вишек… И удивлялся, что он думает о ней. Красивая крестьянка! Мало ли их было по дороге. Отчего же об этой думается ему как бы против воли? Он и не увидит ведь ее более никогда. Да, кажется… Вероятно…

XI

Однажды появился в Витках молодой человек, красивый, ловкий, говоривший одинаково хорошо по-польски и по-русски, вскоре доказавший, что он был молодец на все руки. Новый житель Вишек, по имени Яков, вскоре стал всеобщим любимцем, но в особенности сошелся он быстро с Карлусом и всячески доказывал ему свою дружбу; Вместе с тем он проговаривался приятелю, что у него есть средства и что он богатый жених и не прочь бы найти себе невесту… Вот вроде Софьи…

Вскоре Карлус любил своего нового друга так же, как если бы, знал его уже несколько лет, а между тем Яков был в гостинице не более месяца. О браке с Яковом шестнадцатилетней Софьи он тоже мечтал уже часто и подолгу.

Наконец, однажды Яков объяснил Карлусу, что тот должен ему доказать на деле свою дружбу и помочь в одном очень простом, хотя и важном обстоятельстве.

– Дело самое глупое и простое, – объяснил Яков, – но я могу просить помощи только у человека, которому я вполне верю, который меня не обманет и не погубит, который, пожалуй, и моим родственником стать может.

И в откровенной беседе Яков сообщил Карлусу, что у него есть деньги, и большие, на которые он может не только двор и «виасибас намс» на себя, уплативши содержателю необходимую сумму.

Карлус поверил приятелю и убедил его, что он может вполне положиться на него. Тогда Яков признался откровенно, что деньги зарыты им в лесу, в нескольких верстах от Вишек.

– Деньги эти надо отправиться вырыть, и так как мешок с золотыми червонцами и с серебряными рублями очень тяжел, то один человек никак не может из леса дотащить его, хотя бы через несколько саженей, до телеги. Следовательно, надо ехать вдвоем, разумеется, вечером, и таким образом ночью все сработать и привезти мешок с деньгами домой.

Карлус объяснил, что нет ничего проще дела и что, конечно, он исполнит свято главное условие и никому ничего не скажет о деньгах.

– Больше мне ничего и не нужно. А за эту услугу, – сказал Яков, – я тебе сделаю подарок, который может переменить твою обстановку.

Друзья тотчас уговорились добыть в Вишках небольшую тележку с парой хороших зирксов, или лошадей, сильных и бойких, чтобы съездить за деньгами.

После этого уговора Яков медлил, однако, целую неделю. Карлус сообразил, что друг просто боится и подозревает его, быть может, даже раскаивается, что сообщил о своей тайне.

Но однажды вечером Яков объяснил другу, что на другой день вечером они должны выезжать. Так как тележка и пара отличных лошадей были уже давно найдены, уговор с хозяином был сделан под предлогом поездки в Дохабен, то Карлус отвечал, что он готов и очень рад.

– Я уж думал, что ты меня подозреваешь и опасаешься, – сказал он. – Но мне это было обидно.

– По правде сказать – да… – отвечал Яков. – Но теперь я решился. Доставай лошадей… да получше. Скакунов!

– Это уж готово. Лучшие зирксы всех Вишек! – пошутил Карлус.

Поселянин, у которого надо было взять лошадей, конечно, очень удивился, что двум здоровым молодцам понадобилась пара бойких коней для простой поездки в Дохабен. Однако, подумав побольше, он решил, что, по всей вероятности, этот Яков едет в деревню, где семья Карлуса, в качестве жениха. Разумеется, ради такого случая хочется ему и пофрантить.

В сумерки ясного дня два приятеля выехали из Вишек по большой дороге. На другое утро вернулся домой один из старожилов Вишек и, встретясь с хозяином нанятых лошадей, спросил у него с удивлением:

– Это ведь твоих коней я видел с Карлусом?

– Да. Мои кони, – отвечал тот.

– Охота давать гонять…

– Я за деньги дал.

– Все равно. Это портит коня – сорок верст не кормя гонять.

– Как сорок верст?

– Да так. Я их встретил за большим Янковым бором… Видно ведь, что кони бегут без роздыха, заморенные.

– Они в Дохабен наняли! – воскликнул поселянин.

– Хорош Дохабен за Янковым бором!

Между тем, Карлус и Яков действительно были в это время очень далеко от Вишек…

Отъехав от местечка верст за десять, Яков приостановил лошадей и, пустив их шагом, обернулся к приятелю:

– Слушай, Карлус… Я ведь тебя обманул.

– Как? В чем? – отозвался этот.

– Я тебя обманул, но ты не гневися. Я тебе сказал, что мой клад зарыт тут неподалеку. Это неправда.

– А где же он?

– До него от Вишек верст сто…

– Как сто! – воскликнул Карлус.

– Так. Он у меня на родной стороне. Около деревни, где я родился. Да ты чего же так оторопел? Не все ли равно? Лошади у нас хорошие, доедем мы исправно, хозяину заплатим вдвое, хоть даже вчетверо. Он пенять не будет. Я же тебя потому обманул, что боялся твоей лени. Скажи я тебе ехать за сто верст, ты бы, пожалуй, и отказался.

– Пожалуй, что так! – отозвался Карлус, смеясь. – Даже и теперь страшно. Сто верст! Шутка!

– Ну, а теперь дело сделано. Уж едем, – весело сказал Яков. – Через сутки все будет кончено, даже деньги в тележке будут лежать. Что ж, жалеешь, что ли, что взялся мне услужить?

– Нет. Что ж! И то правда… Кони хорошие. Живо съездим. А коли ты хозяину заплатишь вдвое, то все равно никто в обиде не будет.

– Так ты не сердишься на меня за обман?

– За что же? Стоит ли…

Приятели припустили лошадей… Добрые кони пролетели бодро верст тридцать, но затем начали приуставать… Карлус предложил другу отдохнуть в знакомой деревушке, но Яков не согласился, говоря, что заранее решил отдохнуть и покормить лошадей в одном местечке, где у него есть родственник.

Действительно, проскакав не кормя около пятидесяти верст и достигнув местечка, Яков завернул во двор и вызвал хозяина.

– А, здорово… – воскликнул этот. – Твои тебя поджидают здесь уже двое суток.

– Доброе дело, – отозвался Яков, вылезая.

– Кто такие тебя поджидают? – удивился Карлус.

– Входи, увидишь… Народ веселый… Мои земляки, – смеясь, сказал Яков.

– Твои земляки… – проговорил Карлус, будто робея.

– Ну да… Подумаешь, диковину я сказал…

– Зачем они тут? Почему же ты мне ничего о них не говорил? Не сказал, что тебя тут будут ждать эти земляки?

– Зачем говорить? Вот теперь все узнаешь. Слезай!

Карлус, сам не зная почему, в сомненье сидел на тележке и медлил слезать и входить в дом. Какое-то тревожное чувство внезапно сказалось в нем. Странный ли голос Якова или странный, будто насмешливый, взгляд хозяина двора – не известно, что подействовало на Карлуса, но он оторопел и не двигался.

– Чего же ты? – весело и небрежно спросил Яков.

– Зачем ты таил все это?.. – начал было Карлус.

Но Яков громко расхохотался.

– Ты ведь робеешь. Ей-Богу, робеешь… Чего только – сам не знаешь. Что ж мы здесь тебя зарежем, что ли? Зачем? Ограбить? Что грабить? Платье твое или несколько гривен в кармане?

– Нет. А вот этих чужих коней вы угоните! – резко, сердито вымолвил Карлус. – А меня бросите здесь. Я ворочайся в Вишки и расплачивайся за тебя. А кони и телега – дорогие. Я их в три года не уплачу…

– Полно. Стыдно, Карлус. Ей-Богу, стыдно! А еще приятель! Вылезай-ка. Вот тебе Господь на небеси, что я лучше тебя самого украду, чем твоих коней.

Карлус неохотно и нерешительно вылез из тележки. Хозяин двора принял лошадей, и приятели вошли в горницу.

Тут на полу крепко спали и храпели двое дюжих молодцов…

– Ну и мы так-то ляжем. А выспавшись, все двинемся за моим кладом! – сказал Яков. – До него отсюда еще верст сорок. А ты, Карлус, не тревожься… Не все то дурно, что удивительно…

– Когда же мы проснемся? К вечеру?

– Да, конечно, к вечеру. Ночью и поедем. Мое дело нельзя днем делать. Кони отдохнут, и мы тоже. Ночью проедем, на заре все дело обделаем вчетвером. Лихо обделаем.

– Зачем ты таил от меня, что будет еще двое помощников? – продолжал сомневаться Карлус.

– Э-эх, право… – нетерпеливо отозвался Яков. – Ложись. Спи!

Сказав это, Яков разостлал свой кафтан на пол и лег. Карлус постоял минуту и сделал то же самое.

«Что ж, в самом деле, я оробел. Чего же? – думал он. – Резать им меня не за что. Лошадей бы не угнали они. Так я не дам, подниму деревню… Тут у меня знакомый живет. Догоним верхами и отобьем».

Карлус успокоился несколько, но чрез несколько минут, когда Яков уже храпел, он снова думал:

«Если я с ними поеду, то они меня середи дороги выбросят, а сами лошадей угонят. Я лучше предложу Якову здесь других коней нанять. А на этих вернемся в Вишки. Этак вернее».

Карлус тревожился все более и более, сам не понимая и не отдавая себе отчета, почему он подозревает приятеля и сомневается в его истории насчет зарытых денег. Сомнение не только не уменьшалось, но все сильнее росло и западало в душу. Карлус решил окончательно не ехать далее на тех же лошадях, а предложить Якову нанять других.

«Этак вернее».

Карлус все-таки заснул… Долго ли и крепко ли он спал – он не знал. Но когда он очнулся, то на дворе была уже ночь, а в горнице был мерцающий свет от месяца, смотревшего в окно. Карлус, прийдя окончательно в себя, хотел привстать и вдруг почувствовал что-то особенное, чего он сразу даже и понять не мог. Он был скручен бечевой по ногам и по

рукам, и хотя слабо, но тем не менее достаточно, чтобы не иметь возможности двинуться, встать и пойти. В горнице никого не было;

– Ох, злодеи… – воскликнул он. – Да и я-то хорош… Украли! Угнали! А я теперь расплачивайся за коней из жалованья своего…

Карлус попробовал порвать бечеву, дернул руками и ногами, но путы только пуще впились ему в тело. Он стал кричать отчаянным голосом.

– Эй, не ори! – послышался за дверью голос хозяина двора, и плотный мужик вошел в горницу. – Чего орешь? Зарезали, что ли, тебя…

– Разбойники!.. Угнали коней!.. Ты думаешь, что я оставлю тебя. Врешь. И ты у меня в ответе будешь… Развязывай путы… Живо.

– Развязывать? – хладнокровно сказал мужик. – Дурень! Нешто затем тебя связали, чтобы по твоему указу развязывать. Обожди.

– Чего ждать? Того, чтобы они за сто верст коней угнали! – крикнул Карлус. – Да ведь ты-то здесь. Тебя-то я притяну за конокрадство.

– Ничуть не угнали и не сграбили. Полно врать-то. Лежи смирно.

– Где ж Яков?

– Ушел и сейчас придет. И молодцы его тоже с ним придут.

– А кони с телегой?

– Здесь, на дворе. Где были, там и стоят.

– Зачем же я связан?

– Почем я знаю. Говорят, что так нужно. Мое дело сторона.

Хозяин двора сел спокойно на скамью. Карлус, лежа на полу в путах, стал снова повторять те же вопросы в десятый раз, но мужик зевнул несколько раз сладко и продолжительно и не ответил ни слова.

– Будешь ты говорить, чертова морда! – крикнул Карлус нетерпеливо.

– Нет, не буду, дурак, – тихо ответил мужик, зевнув еще раз… – Лежи, сейчас придут.

Не успел он выговорить эти слова, как около избы раздались голоса и шаги. Чрез мгновение в горницу вошел Яков.

– А, приятель. Проснулся? – вымолвил он весело. – Но голос его был точно другой и странно поразил Карлуса. Это был такой пренебрежительный голос, как если бы Яков был начальником или барином Карлуса.

– Что ты со мной делаешь! Как ты смеешь, проходимец, меня вязать! – крикнул он вне себя.

– Лежи смирно. Сейчас запрягут коней. Мы тебя посадим и повезем, – вымолвил Яков холодно.

– Куда?..

– Если ты будешь сидеть смирно, ничего тебе худого не будет. Понимаешь? Если ты будешь орать или биться, то я тебя выпорю. И буду я тебя пороть до тех пор, пока ты не смиришься.

– Как ты смеешь… – заорал Карлус и, сделав тщетное усилие подняться, он стал злобно и во все горло кричать по-русски и по-латышски: – Помогите… Разбой… Помогите… Палидзиат!

Голос его среди ночи раздавался на всю деревню.

– Замолчи. Слушай меня. Я не разбойник, – заговорил Яков. – Чрез час придет грамотный человек, которому ты поверишь больше, чем мне. Ну, вот я ему покажу, какая у меня есть бумага. Он прочтет ее тебе, переведет по-польски. И ты поймешь, что я тебя имею власть увезти с собою куда нужно, куда мне указано. Понял?

Карлус замолчал и тяжело вздохнул. «Что же это такое, Господи?» – думалось ему.

XII

Прошла неделя, прошел месяц, два, и никто более не видел, никто даже не слыхал ничего ни о Карлусе, ни о Якове. Они исчезли бесследно. Только один след был… След коней…

В ста верстах от Вишек, на большой станции тракта, видели отдыхавших четырех путников, и из них один показался местным жителям похожим на буфетчика гостиницы в Вишках, которого все хорошо знали в округе. Остальные трое были совершенно неизвестны, и, по-видимому, все трое москали. Но если бы даже насчет Карлуса и ошиблись, то, по описанию тележки и пары дорогих зирксов, в Вишках не сомневались, что это именно были угнанные кони.

Разумеется, исчезновение Карлуса было таким событием в Вишках, о котором все от мала до велика долго толковали, теряясь в догадках. Никто не мог думать, что Карлус бежал ради конокрадства, бросив жену и детей в Дохабене. Следовательно, главный мошенник был не известный никому московец Яков. Но каким образом уехал с ним Карлус? Очевидно, против воли, увезенный силком.

Видевшие Карлуса добавляли, что он один из всех четырех был как бы болен или насмерть перепуган. Трое незнакомцев как бы сторожили его на станции, и близко никого к нему не подпускали.

– Но куда же его повезли? Зачем его увезли? – говорилось повсюду со страхом.

В семье Карлуса его исчезновение разразилось, конечно, как громовой удар. Несчастная Марья свалилась при известии с ног, лежала долго без сознания, затем начала бредить, и кончилось тем, что заболела горячкой. Дети несколько дней проходили перепуганные, выли, ревели, дико озираясь на всех. Одна молоденькая Софья была спокойнее, но много плакала по отцу. Ксендз, узнав об исчезновении Карлуса, прямо тотчас же объяснил обитателям Дохабена, что Карлус схвачен москалями и увезен в Россию. По всей вероятности, его или сошлют в Сибирь, или засадят в крепость, а быть может, просто голову отрубят.

– И это следовало ожидать, – сказал он. – Я это предсказывал. Москали его, верно, давно разыскивали.

И посоветовал тайком дать знать о приключении всей родне, ради того чтобы они были осторожнее.

Пока Марья была больна, сделать это было невозможно. Женщина поправлялась медленно, но наконец снова была на ногах. Не имея возможности примириться с тем, что Карлус навсегда исчез и что она никогда не увидит его, Марья деятельно принялась за розыски. Она была уверена, что муж попал к разбойникам.

Содержатель «виасибас намс» поддерживал в ней эту веру. Он сомневался, чтобы русский император стал посылать из Москвы ряженых солдат или каких-то поверенных для того, чтобы тайком или обманом похитить Карлуса.

Вскоре Вишки и Дохабен разделились поровну на два лагеря: одни были мнения содержателя гостиницы, другие мнения дохабенского ксендза. Много было толков, много споров и горячих прений в продолжение долгого времени о том, как и куда бесследно сгинул «пара бралис» – царский брат.

Прежде всего Марья решила обратиться за советом к Христине и попросить у нее немного денег, чтобы назначить награду тому, кто разыщет пропавшего Карлуса.

Чрез неделю женщина была уже в деревушке Кегема.

Муж и жена Енриховы были поражены вестью, но оба подтвердили в Марье уверенность в том, что Карлус сделался жертвою каких-нибудь конокрадов или разбойников. Христине казалось нелепым, что русская царица станет таким способом похищать Карлуса. Если

бы за кого и пожелали москали приняться, то, конечно, прежде всего за нее, Христину, как за главную виновницу, открывшую все о себе и о своих братьях.

Конечно, Вульфеншильд, узнав о прибытии Марьи, вызвал ее к себе в дом и тоже расспросил обо всем.

С тех пор, что Христина повидалась в Риге с своею царицей, Вульфеншильд обращался с семьей Енриховых несколько мягче и теперь особенно интересовался их судьбою, ибо надеялся, что это родство в будущем принесет ему какую-нибудь выгоду. Он точно так же отнесся к делу. Ему показалось тоже нелепым, чтобы Карлуса похитили москали, как бы какую красную девушку или как цыгане воруют детей. Шляхтич буквально повторил то же, что говорил содержатель гостиницы в Вишках.

– Захотели бы взять, – сказал он, – чтобы увезти в Москву, так прислали бы двух или трех солдат.

К удивлению не только Марьи, но и семьи Енриховых, пан Вульфеншильд дал тоже немного денег, чтобы облегчить розыски Карлуса.

Христина дала своей невестке один червонец на дорогу. Вместе с этим она посоветовала Марье поручить розыски Дириху. Он, по ее мнению, как ямщик, постоянно разъезжающий, может через своих товарищей ямщиков распространить на целую округу известие о пропаже Карлуса и обещание о награде за его нахождение.

– Хлопочи, – прибавила Христина. – Я думаю так же, как и наш пан, что не москали увезли Карлуса. Воры угнали дорогих коней, а Карлуса, так как может донести, кто конокрады, они убили или держат у себя в неволе, запертым в подвале или где-то в лесной сторожке, пока не переберутся воровать в другую округу. Такие примеры бывали.

Марья пустилась снова в путь и через неделю была на станции, где жил Дирих.

Он только что выехал с каким-то проезжим, но, вернувшись через несколько часов, был точно так же перепуган известием. Конечно, он тотчас же согласился разыскивать всячески брата, однако сомневался, чтобы Карлуса похитили какие-либо разбойники.

– Прежде бывали здесь шайки, – говорил он. – Постоянно грабили проезжих. Бывало, месяца не проездишь, чтобы кого-нибудь не ограбили. Только нас не трогали и даже просили всегда побольше возить народа, да потише, чтобы легче было ловить! – добродушно пояснил он.

Марья подробно выспросила у Дириха, как пробраться к золовке Якимовичевой. Путь был не малый, так как Анна жила в польских Лифляндах. Марья, однако, решилась побывать непременно и у умной Анны.

Никогда еще не видав семьи Якимовичевых, Марья знала от мужа, что его сестра – женщина особенного ума и решительности. Вообще Марья была о ней самого высокого мнения.

– Ведь она почти приказчицей у своей панны! – часто говорил ей муж.

Дирих подробно рассказал Марье, как проехать через границу, и даже пообещался проводить ее верст хоть за сто.

Однако за одну ночь, что пробыла Марья в доме Дириха, все изменилось.

За эту ночь латышка убедила своего Дириха, слепо повиновавшегося ей, что нужно поступить совершенно иначе. Для нее не было ни малейшего сомнения, что Карлус взят москалями и что он, Дирих, будет точно так же взят в скором времени.

– Все это виновата Христина, – сказала Трина своему сожителю. – Она разъяснила царице, где мы все живем. И вот баб: Христину, Анну, Марью или меня – не тронут, а мужиков, Карлуса и тебя, москали непременно решили не оставлять на свободе. Стало быть, надо ожидать в скором времени, что таким же или иным способом возьмут и тебя.

Дирих был поражен и поверил сразу.

– Что же нам делать, Трина?

– Да ты не согласишься. Я знаю, что делать. Да ты, осел, упрешься, – сказала Трина.

Действительно, когда латышка объяснила своему сожителю, что, по ее мнению, следует предпринять, то Дирих растерялся, смутился и стал отказываться.

Однако через два часа переговоров среди ночи и, конечно, шепотом, чтобы не могла ничего слышать Марья, спавшая в соседней горнице, Трина все-таки убедила:

«Поскорее, не теряя ни дня, сбыть Марью с рук и заняться не Карлусовой, а своей собственной судьбой».

Хитрая и умная латышка быстро подготовила почву для соглашения. Все утро она охала на все лады, дивясь, как Марья могла отлучиться из дому после такого казуса с мужем.

Если и впрямь, говорила она, не разбойники, а москали выкрали Карлуса, то могут точно таким же образом явиться и покрасть детей. И кто защитит их? Уж, конечно, не пан Лауренцкий, который от московских солдат или простых сыщиков спрячется сам в подвале или в стоге сена.

– Да ведь и я бы не могла защитить их, – отозвалась несколько встревоженная Марья.

– Вестимо. Но зато тебя бы взяли вместе с ними. По крайней мере, не разлучили бы. А ведь теперь ты можешь вернуться из своего путешествия к Якимовичам и найти дом пустым. Хорошо, если ты после, тоже взятая, увидишься с мужем и детьми.

– Что же мне делать? – говорила уже совершенно смущенная женщина.

Дирих предложил сестре возвращаться немедленно домой и сам вызвался ехать к Анне Якимовичевой, чтобы вместе обсудить дело и начать розыски, но, разумеется, на деньги Марьи.

Женщина с радостью дала брату два червонца, а сама в сумерки, встревоженная всем, что красноречиво наболтала ей хитрая Трина, пустилась домой, прося Бога найти лишь детей целыми и невредимыми в Дохабене.

А через несколько часов после ее отъезда в избе Дириха шла спешная укладка и сборы. Ямщик уже получил расчет от хозяина.

Немало удивился содержатель станции и другие ямщики и их жены, узнав, что Дирих с латышкою покидают хорошую избу, за найм которой вперед уплачено, и бросают целую десятину, засеянную хлебом.

Разумеется, Дирих не объяснил никому ничего, а сказал, что один из проезжих нанял его в кучера, верст за сто от места. Должно быть, Дирих лгать не умел, потому что на его лице и в глазах все прочли, что есть нечто другое, побуждающее его быстро и без оглядки, бежать со станции.

В тот же вечер на телеге было свалено все небольшое имущество Дириха и Трины. На воз была посажена младшая девочка, а старшая, вместе с матерью и Дирихом, пошла пешком.

К утру путники были уже верст за двадцать от деревушки и остановились в поле отдохнуть. Путь их был действительно к польской Лифляндии, но, добравшись через неделю до местечка Губно, Дирих оставил семью, пристроив на заезжем дворе, а сам пошел искать себе место в батраки.

Не более как через сутки и Дирих, и латышка уже нанялись к купцу, у которого были большие огороды. Однако нанялся к огороднику не Дирих Сковорощанек, не поляк и католик, не тридцати пяти лет мужик, а нанялся Юррэ Чамарый, латыш, пятидесяти лет и по вероисповеданию униат. Иначе говоря, по научению Трины, перед отбытием со станции Дирих, напоив одного из товарищей ямщиков допьяна, просто-напросто украл у него из кармана его билет.

– Ну, теперь здесь, – шутила Трина, довольная и счастливая, – никакие москали, буде станут разыскивать Дириха Сковорощанка, не найдут нас ни за что. Сто раз пройдут и проедут они мимо Юррэ Чамарого и не догадаются, кто этот Чамарый.

Поселившись здесь, Дирих и Трина не могли, конечно, узнать, насколько умно и хитро они поступили.

Не далее как через месяц после того, как Дирих получил свой расчет у содержателя станции, в Вишках и Дохабене появились какие-то две личности и, расспросив подробно о том, где живет и что делает брат Карлуса Сковорощанина, направились на ямскую станцию. Здесь они узнали, что Дириха давно нет, а куда он отправился – неизвестно.

Обе таинственные личности в продолжение еще почти месяца сновали по всей округе, разыскивая Дириха, чуть не обшаривая каждую деревушку и каждый поселок. Они говорили, что Дирих разыскивается за убийство проезжего. И, несмотря на то, что в этом объяснении не было ничего особенного, никто этому не поверил. Сами эти личности, плохо говорившие по-польски и вовсе не говорившие по-латышски, были подозрительны для всех.

XIII

Однажды в Дохабене, на огороде, среди высокой конопли, сидели на земле двое – чернобровая красавица, очень молоденькая, живая и вертлявая, а около нее, полулежа у гряды, белокурый, рослый малый лет двадцати, с простовато-добрым лицом.

Это были друзья с детства: «ганс», то есть пастух Дауц Цуберка, и Софья Сковорощанка.

Прежде они не только видались просто, не скрываясь и не таясь ни от кого, но даже проводили иногда целые дни вместе.

Теперь же их дружба, перешедшая в иное чувство, стала предметом как насмешек дохабенцев, так и гонения со стороны родных Софьи. Нищий бобыль и деревенский «ганс» не мог быть парой для девушки, отец которой был не простой крестьянин, а лакей, платящий большой оброк своему пану и живущий богато.

Теперь Марья приказывала сыновьям – Антону, уже восемнадцатилетнему парню, и даже мальчугану Мартыну – следить за сестрой, чтобы она не водилась с Цуберкой. Если б латыш был поменьше ростом и послабее, то Марья приказала бы даже старшему сыну побить возлюбленного сестры, но Цуберка был такой дюжий парень, что с ним и мужику в драку вступить было бы опасно.

Пользуясь исчезновением отца и горем и убитостью матери, Софья стала чаще и подолгу видаться с возлюбленным, скрываясь, однако, от приставленных к ней надзирателей-братьев.

Беседа влюбленной парочки на этот раз была особенная. Софья тихо уверяла Цуберку, что, благодаря внезапно придуманному ею плану, хитро обдуманному, больше вероятия, что она выйдет за него замуж. Цуберка только косматой головой встряхивал и глуповато взглядывал на Софью.

Переговорив, они молча сидели, глядя друг на друга, когда внезапно Софья услыхала шаги в коноплянике.

– Антон крадется! – шепнула она. – Увидит – мы его обругаем. Чего бояться?

Шаги приближались, и вдруг среди высокой конопли показалась такая фигура, что Софья дико взвизгнула и бросилась с места в сторону… Цуберка шаркнул тоже зайцем в другую сторону. Такого гостя и он оробел пуще самого черта.

Фигура, очевидно нечаянно наткнувшаяся на влюбленную парочку, был барин-москаль, из тех, что уже побывали раз в Дохабене, разыскивая Дириха.

И Софья, и Цуберка хорошо узнали москаля, ибо когда-то немало глядели на него с трепетом.

Разумеется, девушка бросилась бежать домой и всполошила семью известием о появлении страшного гостя.

– Не ошиблась ли ты? – спрашивал Антон.

– Москаль! Москаль! Вот как видела. И Цуберка видел. Москаль! – повторяла Софья.

Действительно, в Дохабене появились снова те же две странные личности. В тот же день вся деревня была на ногах, а гости явились в дом к Сковорощанке и, уже не скрывая своего происхождения и звания, объяснили Марье, что они присланы из Москвы, чтобы предлагать Дириху, а равно и Марье с детьми ехать в Россию.

– Там вы увидитесь и с Карлусом Самойловичем, – заявили они.

Марья, ее сыновья и дочь, конечно перепугавшись насмерть, тотчас дали знать об ужасных гостях, являвшихся уже второй раз, как пану, гостившему у соседа, так и ксендзу.

Тот и другой немедленно явились и нашли у Марьи двух чисто одетых молодцов, из которых один казался простым солдатом, а другой скорее смахивал на офицера. Но одеты

они были одинаково, в простых кафтанах и шароварах, с высокими сапогами и в шапках вроде гречневиков.

Появление ксендза и отсутствовавшего пана шляхтича как будто сначала несколько озадачило обоих. Но затем тот, который казался скорее барином и офицером, чем простым солдатом, отрекомендовался письмоводителем московской берг-коллегии и объяснил, что ему дано поручение от одного именитого боярина пригласить как Дириха, если он найдется, так и Марью с ее детьми ехать в Москву и получить выгодное занятие.

– Может быть, там они и разбогатеют, – повторял чиновник.

Пан Лауренцкий заявил, что господин секретарь берг-коллегии может увезти с собою Марью с детьми, но предварительно купив их у него, так как они его крепостные и он их даром никому не отдаст. Пан Лауренцкий думал, что на этом прекратится весь разговор. Но, к его удивлению, москаль стал торговаться и предлагать сумму, которая смутила небогатого шляхтича.

Москаль предлагал сто рублей за женщину с шестью детьми, из которых только один старший сын мог считаться уже хорошим работником. Это была огромная цена.

Пан Лауренцкий оторопел, не согласился тотчас, а попросил себе сутки на размышление. Вернувшись домой, он уже боялся только одного, что как бы москаль не раздумал и не уехал или не предложил бы вдруг двадцать пять рублей.

Лауренцкий отдал бы всю семью и за пятнадцать рублей, но ему жаль было расстаться с красавицей Софьей, на которую он имел уже свои виды. Впрочем, за сто рублей московских Лауренцкий с радостью соглашался пожертвовать и чернобровой Софьей.

Пан уже собирался в тот же вечер снова объясниться с чиновником берг-коллегии, но к нему неожиданно явился ксендз.

– Поймите, пан, – сказал он, – в чем дело. Карлуса похитили москали хитростью. Взять его силою они не хотели, чтобы не нашуметь во всем нашем округе. Теперь точно таким же образом… заметьте это, пан, тем же самым манером, ничего о себе не объясняя, разыскивали они Дириха Сковоротского и, нигде не найдя, явились и предложили вам уступить семью Карлуса. Если бы можно было украсть женщину и шестерых детей без шума, заманя их куда-нибудь, то поверьте, что ни Марьи, ни детей ее не было бы теперь уже в Дохабене. Но так как выкрасть целое семейство мудренее, чем одного человека, то вот они поневоле и явились торговаться с вами. По чьему указу они так делают? Кому интерес и выгода получить семью Карлуса? Конечно, русскому царю! А как вы полагаете, что может дать за свою прихоть или за какую-нибудь крайнюю нужду русский царь? Представьте себе, что царю или царице русским позарез хочется или даже необходимо заполучить к себе в Москву Дириха и семью Карлуса. Что русский царь за эту необходимость или хоть за эту прихоть может предложить владельцу, пану Лауренцкому? Неужели сто рублей? Нет, любезный пан, уж если вам продавать таким покупателям, то продавайте так, чтобы, благодаря такому случаю, единственному в гистории, какой вам судьба и фортуна ваша посылают, вы могли бы на эти деньги купить себе еще целую другую вотчину. Поймите, пан, что вы переговариваетесь теперь не с письмоводителем берг-коллегии. Он наемный посланец. Вы ведете теперь торг с иным лицом!

И наутро Лауренцкий, убежденный ксендзом, решил просить за семью Сковорощанков пятьсот рублей.

Разумеется, думал пан, эти приезжие такой большой суммы не дадут и уедут обратно просить дальнейших приказаний. И когда-то еще москали доедут до Москвы и объявят о своей неудаче, да когда-то еще снова пошлют их сюда с новым предложением. А между тем, покуда он успеет обделать свои дела, близкие его сердцу. До тех пор Софья Сковорощанка перейдет в полное его владение, уже не как к пану помещику, а как к влюбленному в нее. А затем, через каких-нибудь полгода, когда явятся снова москали за Сковорощанками, он

получит крупную сумму и с удовольствием отдаст им всю семью, с Софьей включительно. Таким образом, две его цели будут достигнуты.

В полдень пан Лауренцкий повидался с загадочными гостями, ночевавшими в Дохабене в ожидании его ответа.

Секретарь берг-коллегии был искренно и неподдельно изумлен ответом пана шляхтича.

– Помилуйте, господин Лауренцкий. За эти деньги в России можно купить целых три имения, целую округу, целый городок! – возразил москаль.

– Да и у нас также большую вотчину можно купить, хоть бы вот одну из Радзивиловых, – смеясь, отозвался шляхтич. – Но я полагаю, пан секретарь, семейство Сковорощанков стоит этого. Я полагаю, что вы, побывавши в столице Московского государства, вернетесь ко мне снова и привезете эту сумму сполна. У вашего хозяина денег много… Привезете!

– Не думаю, – уже загадочно смеясь, отозвался москаль.

Через несколько часов гости уже выехали из Дохабена.

Марья с семьею вздохнула свободнее. Избегнув опасности, ей оставалось только снова горевать о муже. Однако через двое суток, около полуночи, в доме Марьи произошла сумятица. Маленькие дети завыли, а старшие, Антон и Софья, мертво-бледные, дрожали как в лихорадке, поднятые вдруг со сна.

Марья, еще более перепуганная, едва могла отвечать на вопросы того, кто произвел эту сумятицу. В ее доме, пробравшись как вор, появился тот же секретарь берг-коллегии.

Напрасно он успокаивал женщину и детей, клялся, что никакого худа им не сделает, что он пришел мирно уговорить их ехать, чтобы свидеться с отцом.

– Поймите, глупая женщина, что я вас отвезу туда, где теперь Карлус, который томится о вас в разлуке. Чтобы вы верили мне, вот доказательство самое лучшее. Возьмите это себе.

И ночной гость выложил на стол две горсти денег, где было серебро и несколько червонцев.

– Вот вам для того, чтобы вы купили себе все нужное и собирались в дорогу. А затем тайком, как-нибудь ночью в заранее условленный час, выходите на большую дорогу, где я буду ждать вас с двумя телегами.

Долго уговаривал и усовещевал москаль и женщину, и старших детей согласиться тайно бежать из Дохабена и ехать в Россию, чтобы свидеться с Карлусом. Старшие дети только мотали головами, пугливо озираясь и ожидая каждую минуту появления вооруженных людей в помощь этому ночному посетителю.

Марья, несколько успокоившись, колебалась, глядя на деньги, высыпанные москалем на стол. Наконец, будто осененная лучом находчивости и присутствия духа, она выговорила:

– Никогда, ни за что не двинусь я с детьми отсюда. Если вы говорите, что должны свезти меня туда, где Карлус, и что он в ваших руках, а не в руках каких-нибудь разбойников, то пускай он сам явится с вами и возьмет нас. Пускай он также, явится тайком, ночью, мы будем готовы и в несколько минут выйдем за вами. С Карлусом и с детьми хоть на край света. А так, пан москаль, я не двинусь. Если вы что-нибудь злое предпримите, я в одну минуту всполошу всю деревню. Мы, с благословения пана священника и с разрешения пана Лауренцкого, убьем вас, зароем в землю, и к рассвету об вас и помину не будет. Благо, вы потихоньку и невидимо пришли. Уходите тотчас, или я сейчас же крикну в окошко одно слово, от которого сразу встанет на ноги весь Дохабен. Стоит мне крикнуть: «Москали!..» – и через минуту все мои соседи окружат эту избу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.